



Александр
Покровский

*ИНОГДА НОЧЬЮ
МНЕ СНИТСЯ
ЛОДКА*

роман

ИНАПРЕСС

АЛЕКСАНДР ПОКРОВСКИЙ

Иногда ночью
мне снится
лодка

роман



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИЗДА ПРЕСС
2005

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)6
П 48

Редактор Н. Кононов
Художник М. Покшишевская

ISBN 5-87135-171-9
© ИНАПРЕСС, А. Покровский, 2005

Иногда ночью
мне снится
лодка



... Иногда ночью мне снится лодка. Она идет под водой.

Она снится мне, когда я очень устаю за день.

Сновидение всегда одно и то же: я иду из кормы в нос из отсека в отсек, и в каждом меня встречают знакомые звуки.

В десятом — шум вала гребного винта.

Этот шум успокаивает до тех пор, пока не включается насос рулей — звук веселый и чуть придурковатый, он вступает внезапно, сильно, некстати, он раздражает, как мальчишка, что прыгает сзади на плечи и предлагает поиграть.

«Клац-клац-клац!» — включилась помпа.

Громкая, бесцеремонная, ей нет никакого дела до того, что вы в отсеке, она прекрасно обошлась бы и без вас — «Клац-клац-клац!»

В турбинном внизу тонко и сильно, почти на границе слуха, свистят турбины, звенят насосы, шум такой, что всегда недоумеваешь — как здесь люди могут нести вахту четыре часа.

В реакторном, на проходной палубе, переключаются воздушные клапаны. Они делают это так, будто произносят имя «Саша» — С-с-с-шшш-а! А в конце переключения — удар, после

которого долго ноют трубы, а во рту привкус железа.

В носовых отсеках поют вентиляторы.

А в кают-компании можно услышать каркающий голос классика марксизма-ленинизма.

Он записан на специальной пластинке, и его крутят матросам. У них политзанятие, прослушивание голосов. А лица у всех одуревшие, губы поджаты, как гузка.

Звуки на лодке неприятны, но с ними спокойнее. Если они замрут, наступит тишина.

Тишина атакует. Она тревожит.

Кажется, что-то должно произойти. Люди просыпаются, лохматые головы выглядывают из дверей, все спрашивают: не случилось ли чего.

Только теперь слышно, как за бортом переливается вода, и сейчас же вспоминается, что ты все-таки засунут в снаряд, а он утоплен на глубине тридцать метров, а под ним несколько километров до грунта. Неприятная штука.

При погружении корпус обжимается и скрипит. Звук — то ли стеклом по стеклу, то ли с невероятной силой сминается жесткая сухая кожа.

При падении аварийной защиты реактора воют останавливающиеся механизмы, хлопают двери кают, переборок, слышен топот ног.

Под водой этих звуков в избытке. Не хватает гула весенней улицы, криков, машин, трепета листвы, чирикания воробьев.

Иногда эти звуки записывают на пленку и крутят во время обеда.

Но все это не то.

Почему-то все время хочется узнать: что там снаружи за пределами прочного корпуса.

Когда это желание становится непреодолимым, отправляешься к акустикам — они слушают океан.

Океан трещит, свистит, квакает.

«Что это?» — спрашиваешь у них. — «Дельфины». — «Дай еще послушать», — надеваешь наушники поудобнее, сейчас будет полный букет звуков... и в тот же миг просыпаешься.

Он всегда «качался». Сколько себя помнил. И мышцы ломило.

В них поселялось томление. Оно было сродни душевному томлению, сродни маете, предчувствию наказания за невыполненный урок. Будто кто-то предлагает взглянуть на последствия, которые могут возникнуть из-за невыполненных заданий — и вид них, наверное, жуток.

Но это всего лишь болят мышцы. Они и раньше ныли.

Еще они саднили, жаловались, как дети, которые не могут найти причину своих недовольств и сетуют на усталость, на солнце, на родителей.

Они даже чуть вспухали.

И еще они росли, и он сам рос, становился квадратным, с выпуклой грудью и мощным торсом.

А потом оказалось, что он запакован, замурован в эти мышцы, защищен ими, отгорожен от всего остального и даже, как ему думалось, от неприятностей, — этой толстой выпирающей оболочкой.

С ней как будто можно было знакомиться,

разговаривать, слушать ее, но словно сам он почти не имел к ней никакого отношения.

Это был его собственный, реально существующий облик, и нужен он был для того, чтоб люди занялась именно обликом, а не маленьким, хрупким, сомневающимся в себе человеком, которым он себе виделся и который, как ему думалось, надежно спрятан внутри этого идола, потому что на самом деле (он бы и сам себе ни за что не признался) он иногда панически боялся людей, особенно подходящих к нему слишком близко, порой приходил в смятение от одной только мысли, что вот сейчас с ним заговорят, вот сейчас ему что-то предложат и вынудят его принимать решение, осуществлять выбор и — о, ужас! — он вынужден будет вступать с ними в отношения, что-либо им объяснять, обещать, за что-то отвечать, может быть даже за что-то серьезное.

Поэтому он (как ему представлялось) не без основания полагал, что груды лоснящейся мышечной массы отпугнут пришедших к нему и воспрепятствуют этому контакту, этим отношениям.

И в то же время он все-таки хотел воздействия на себя, простодушно хотел человеческой заинтересованности, почти как каменотес, столько времени потративший на изваяние и мечтающий показать его людям.

Пожалуй, он даже желал, чтоб на него напали, а он, мускулистый, по-настоящему отбивался; ведь невозможно сразу же согласится с

тем, что какая-то часть жизни употреблена на создание телесной крепости, и на нее, на эту преграду, бруствер, мышечный вал, на эту чудесную фортификацию, с таким трудом любовно им возведенную, не будет совершено ни единого покушения.

И надо ли говорить, что под агрессором здесь следует понимать саму жизнь — летящую на него, прущую, лезущую со всех сторон, от которой не спрятаться, не отгородиться, не забиться в щель.

Он действительно боялся этой самой жизни, людей или обстоятельств... людей ли в виде обстоятельств, или обстоятельств под видом людей — все едино.

А может быть, он страшился тепла, тепла другого человека — его взгляда, его слов, его рук — они ведь тоже проникают внутрь, даже если ты защищен. Тогда через какое-то время замечаешь, что себе не принадлежишь, а принадлежишь этому теплу, ты все время хочешь его попробовать, но тебя, прошлого, уже нет, и это так странно.

По ночам мускулистый гигант словно бы распадался на части: плечи, бедра, грудь — все существовало отдельно, но не лежало бесчувственной грудой, о нет. В каждом органе, пусть даже самом ничтожном, шла жизнь, кровь гнала ее перед собой.

И все существовало как разрозненные части, которые слисаясь по утрам, еще какое-то время вынуждены были привыкать друг к другу.

Еще можно было отлежать уши, и потом в них ощущался какой-то шов; мощную руку душил жалкий ремешок от часов, которые он забывал снять перед сном, что-то ломило — например, плечи и пятки — а под веками, на той дорожке, по которой во время сна должны были синхронно двигаться зрачки, ощущался песок.

Часто, когда он засыпал, к нему приходила довольно странная мысль: вдруг начинало мерещиться, что в этом ночном хаосе, в этой разрозненности, его и можно застать врасплох, и кто-то не преминет это сделать; и он вздрагивал, ему виделось, что в один миг все части его тела со стоном, скрежетом и даже грохотом соединяются в единый мощный корпус, и он — тот хлипкий внутренний он — всегда успевал впрыгнуть внутрь этого тела, как это делает рак-отшельник, что при малейшем сотрясении воды успевает отпрянуть внутрь раковины, лишь взметнув при этом невысокую песчаную пыль.

Он вздрагивал всем телом от пяток до затылка и просыпался.

Он сперва пугался таких пробуждений, а потом почти привык к этому содроганию, к этой встряске, и относился к ней как к неизбежному.

Ночь была его проклятьем.

Он давно уже не спал, как спят обычные люди: он не достигал легкого и одновременно вязкого бремени сна, и путаница прелестных ощущений знакомых с детства, куда-то исчезала.

Утром, пробуждаясь, он уже не испытывал прозрачной поднимающей легкости, этой физической робости пред полнотой нерастраченного предстоящего дня. Этого уже не было.

Может быть, оттого что здесь, под водой, перемешались такие земные понятия, как утро, день, ночь, сон, пробуждение.

Здесь, внутри жутко сложного снаряда, созданного руками одних людей и отданного в руки других, таких же, как он, бродивших на вахте по внутренностям этого замечательного устройства, у которого для самостоятельной, отдельной от людей жизни, казалось, есть все: мускулы — турбины, насосы, винты, линии валов; нервы — пучки толстых и тонких проводов, по которым передавались управляющие команды и энергия; и даже кровь — желтоватая маслянистая жидкость, по сигналу заполняющая пустоты подъемников.

Здесь даже день и ночь можно было назна-

чать по мановению волшебной палочки — простым поворотом тумблера.

И люди внутри напоминавшие ядрышки акации, запаянные в длинном стручке (он в детстве, чтобы убедиться, что их там достаточно, всегда подносил его к уху и встряхивал), тоже, по чье-му-то замыслу, должны были простым поворотом тумблера моментально переходить из бодрствования в состояние глубокого сна, а затем — щелк! — опять в бодрствование.

Он мог часами лежать, уставившись в низкий — буквально в нескольких сантиметрах от лица — потолок, покрытый толстым слоем белой краски.

Это была трехъярусная койка, и его ярус был самым верхним.

Он лежал и ждал звонка — двойного, короткого, твякающего, которым вызывался на связь вахтенный отсека; или длинного, резкого, врывающегося даже не в уши, а в глаза, под кожу, в спину, в ноги — сигнала общей тревоги.

И он ждал его не сознанием, а всем томящимся в предвкушении этого дикого звука телом, ожидая удар, как животное, чтоб соскочить с койки, броситься, нырнуть через переборку, повернуться, задраить за собой дверь...

И тело канючило: вот сейчас раздастся звонок, сейчас он будет, сейчас, вот услышишь, и он войдет в твою грудь, в живот, в лодыжки — и придется опрометью бежать.

Так, казалось, помышляла его плоть, и этим надоедливым нытьем она заслоняла его собственные мысли, которые, как ему чудилось, были необычны и значительны и которые, из-за этих будущих тревог, оставались где-то внутри и вызывали досаду; и он, чтоб покончить с этим, начинал слушать звуки внешнего мира — шорохи, вздохи, тихие щелчки — то лопались пузырьки воздуха где-то за обшивкой.

Вернее, ему представлялось, что именно так они лопаются. А потом ему вдруг очень захотелось увидеть зелень, траву и то, как ветер, запутавшись в сосновых иглах, в конце концов, выбирается из этих смолистых зарослей, захотелось ощутить их запах и почуять дыхание прелой листвы, и он пытался вызвать все это в себе.

Иногда это ему удавалось, особенно когда он лежал на левом боку.

Но однажды, лежа таким образом, он услышал стук своего сердца — оно сжималось, замирало, а потом, содрогаясь, сокращалось, происходил глухой удар — тум! тум! — и сейчас же онемело плечо: будто сузились донельзя кровеносные сосуды, и плечо сделалось резиновым.

Это ощущение передалось вниз по руке, и пальцы как бы раздулись, ну совсем как у хирургической перчатки, опробуемой на герметичность; а сердце колотилось, словно утопающий.

Все это, как ни странно, напомнило ему детство, и он увидел себя, ловящего дафний на корм рыбкам, увидел как эти водяные блошки,

обессилевшие в борьбе с сородичами, опускались на дно стеклянной банки, все еще толкая ресничками упругую и тяжелую воду, а он, приблизив к ним вплотную лицо, удивлялся сложному устройству их полупрозрачных тел. Но удары сердца снова напомнили о себе.

Эти толчки отзывались внутри всего его тела в таких маленьких, необычайно ловко устроенных резонаторах, многократно усиливающих силу каждого сотрясения. Они наполняли сознание страхом, почти осязаемым ужасом, какой-то мальчишеской угрозой, нашептанный в глуховатых школьных коридорах и потому безусловно воплотимой.

И он вдруг понимал, что его следующее сотрясение может стать последним.

Его собственное тело становилось совсем отчужденным, и под видом этого тела темный враждебный внешний мир прикидал к нему неразрывно и плотно, прилипал, а потом и вошел в каждую клетку. И вот теперь уже от этого соглядатая не отвязаться, и нет уголка, который был бы твоим, где можно было бы скрыться.

И ему стало так холодно, будто случайно коснулся щекой морозного стекла, хотя сначала он вовсе не хотел этого делать, а намеривался отогреть стекло дыханием, чтоб потом растопить кружочек и через него посмотреть, как там на улице.

И еще ему представилось, как он впервые проходит медицинскую комиссию и почему-то очень переживает по поводу своей внешности,

своего тела, переходящего от одного стола к другому столу, где каждый врач конечно видит, что у него тонковата шея, и кисти рук тоже выглядят хлипкими, хотя на самом деле они очень сильные, и он мог бы это доказать — пожалуйста, сколько угодно, — только он их очень стесняется и ему все время хочется прижать их к бокам, спрятать за спину или хотя бы встать боком, чтоб их не было видно, чтоб на них не обратили внимания. И вот еще что: у него и лодыжки сухие тощие (конечно же, поэтому они тоже нехороши), и колени у него острые, в них выпирают косточки, что так похожи на косточки каких-то животных — их еще называли «альчиками», в них играют во дворе мальчишки: они их бросают, стараясь битой попасть по «альчику» противника, от удачного удара звук такой, что, кажется, попали и в тебя, но это быстро проходит, потому что ты выиграл, ты волнуешься, и перед очередным броском, чтоб снова попасть, шепчешь над битой всякие там заклинания...

А тут его еще заставили совсем раздеться, и он, чтоб поскорее все это кончилось, рывком сдернул трусы, и старался не смотреть, как кто-то посторонний запустил руку в его мошонку, в самое лукошко, хочется так ее назвать, и перебирает его яички, мнет хлипкую кожу, как будто ищет отверстие в нем, (а мошонка — это повисшая лоскутком летучая мышь, оцепеневшая то ли от холода, то ли от страха, и ее нужно так именно тереть, чтоб она пришла в себя, очнулась и улетела).

Его будто оставили в покое, положили на спину, накрыли с головой то ли шинелью, то ли одеялом, и он ощутил себя внутри душной горы.

Он увидел себя со стороны.

И ему казалось, что все прошлые ощущения были не так скупы и точны, словно кто-то наградил его новым рассудком, который все еще уживается с прежним, не противореча ему, не пытаясь его ничему поучать, но снисходя к его причудам, как снисходим мы к причудам старика, которому недолго уже осталось... И новый ум не мешал старому оценивать хотя бы то, что само он стоит рядом с тем, кто лежит, и тот, кто лежит, это тоже он, полузадохшийся под этой проклятой воняющей псиной шинелью (а на самом деле и не шинелью вовсе, а верблюжьим одеялом), лишенный возможности не только двигаться, но и шевелиться, думать, мыслить, дышать...

В эту минуту он понял, что спит и видит сон, и сейчас же некоторая слабость просочилась в ту часть легких, которая в покое бывает почти недвижима, и в груди появилось знакомое том-

ление, ноющее чувство будущей опасности, обычно предваряемой подобными сновидениями, и перед ним тотчас возникло лицо его сменщика Петра.

Губы у Петра задвигались, рот складывался в долгое «о», как у подсыхающей рыбы, что поначалу была такая красивая, но потускнела, и теперь ее не жаль, или будто у каменной головы, из которой вместо крика вот-вот прольется фонтан, и струи его торопливы, а потому недостаточно серебристы и нежны. Потом рот ни с того ни с сего закрывался, и из этого можно было заключить, что рыба все еще жива и фонтан еще не окаменел, и как только он пришел к этому выводу, перед ним снова совершенно неожиданно возникло лицо сменщика: глаза выражали явную заинтересованность происходящим, теперь Петр говорил, и можно было поклясться, что он слышит каждое слово и до него полностью доходит смысл сказанного.

Еще стоило бы добавить, что все происходило необычайно живо, и он был совершенно уверен в том, что все это совершается теперь уже наяву, и до сменщика можно даже дотронуться, ощутить его плотность, испытать упругость его тела, его теплоту, наконец. Но необходимости в этом прикосновении не было, столь велика в нем была уверенность в безусловной реальности этой картины.

И все-таки он дотронулся до Петра — так, на всякий случай, — и Петр удивленно уставился сначала на его руку, шарившую по его груди,

а потом и на него самого, но он вывернулся, сказал что-то, легко хохотнул, и Петр хохотнул вслед за ним, а потом они пошли вместе, рядом — как выяснилось, только для этого все и затевалось, — и это успокоило его, позволило отодвинуть, засунуть ту тревогу в дальний ящик стола, который, конечно же, не позволит ей выйти на свет, после чего можно вздохнуть с облегчением и сказать: «Фу, ты, Господи, ну, конечно...»

И вот они, согнувшись в три погибели, прижимаясь шершавыми щеками, взялись разом, подсовывая с величайшей осторожностью ладони в тесные щели между полом и вот *этим*, упираясь в вертикальную стену *этого* — того, ради чего все и затевалось, лбами-плечами, поднялись и потащили все *это* мелкими шажками, осторожно, чувствуя ускользание этой штуки слабеющими руками, и он думал только о том, как бы все это не уронить, и чтоб хватило дыхания, а Петр дергал, шел неровно, отчего груз переезжал на кончики пальцев, и он злился на Петра и в то же время хотел спросить его: что же они несут и куда — и никак не успевал этого сделать.

И он видел себя, вернее, часть своего носа, который покрывался едкими росинками пота, и он понимал, что все, что он сейчас видит и чувствует, сейчас для него не главное, не основное. И тут он ощутил, как на правой ноге палец попал в дырку на носке, которую он вчера еще собирался заштопать, и эта дырка принялась расширяться, и палец проваливался в нее все глубже и глубже; и тут он в ужасе понял, что,

может быть, для него сейчас это и есть самое главное: то, что не он уже управляет этой ногой, этим пальцем, этим носком с дыркой, а носок — да-да, именно носок — управляет им, устанавливает свой порядок вещей; носок теперь то главное, то основное, к чему обращены все его помыслы и желания, все его устремления и чаяния, и еще палец, конечно же, палец, который все еще проваливается куда-то; и самое страшное то, что там, где он исчезает, ничего нет, там не во что упираться, не за что зацепиться, а все это, конечно же, из-за Петра — тот снова дернул, — и тут он, запнувшись о что-то, стал валиться, тщетно напрягая одеревеневшую спину, раздался грохот, после которого кто-то стал шарить по его груди...

«Смена!» — «Смена чего?» — спросил он у себя и раскрыл глаза.

«О Господи!» — кажется, это тоже сказал он, прежде чем прислушаться к ровному шуму вентилятора и почувствовать на своем лице движение воздуха, выдуваемого через отверстия над головой.

Его не покидало чувство досады на Петра за то, что по его вине произошло падение.

И никак не удавалось вспомнить, что же они, все-таки, несли.

Какое-то время ему казалось, что вспомнил он, и уйдет навсегда чувство вины, хотя в чем, собственно, он виноват — дернул ведь Петр, и

почему же тогда так тягостно на душе — будто к тебе обратились, а ты, поперхнувшись, забыл свое воинское звание или посадил кляксу в несуществующую теперь школьную тетрадь.

«Где я?» — спросил он себя и усмехнулся.

Да там же, где и всегда: на подводной лодке, в каюте, кто-то забыл потушить прикроватный светильник — вот и светло здесь, а сейчас ты пойдешь на вахту, в маленькую каморку, где сменишь Петра и, скрючившись, просидишь четыре часа.

Но когда он появился в камерке, что на их языке называлась «боевой пост», им немедленно овладела кое-какая робость — он не знал, должен ли он улыбнуться, бодро сказать что-либо или же, напротив, не попадая взглядом в глаза Петра, сухо поинтересоваться «о режиме работы установки».

Он исподтишка начал наблюдать за Петром, не показывая особой радости по поводу того, что он его видит, и в то же время без лишней строгости, которая при хрупкости человеческих отношений, месяцами складывающихся в этой тесной конуре, могла бы навредить им.

При этом состояние его души, передаваемое взглядом, можно было бы сравнить с неким танцем, (смешно, но он подумал об этом), когда партнер почти незаметно подбирается, приближается, и в то же время где-то внутри этого сближения уже есть все для отстранения во имя соблюдения приличествующей дистанции.

И слова же, которыми он через некоторое время заговорил, были односложны и казались ему камешками, которые бросает через ограду

нашкодивший мальчишка, готовый немедленно ретироваться.

Все, что отвечал Петр, им мягко, но в то же время тщательно взвешивалось или даже ощупывалось, ну совсем как это делает хозяйка с кочанами капусты, пробуя пальцем те места, где по ее мнению скрывается порча.

Всевозможные оттенки, интонации, на самом деле существующие в речи Петра или только воображаемые, так же не были оставлены им без внимания.

«Почему он так сказал? Зачем это? А почему улыбка появилась в конце фразы? А отчего уголки его рта опущены, так значит...»

Иногда же ему представлялось со всей очевидностью, что все с ним произошедшее было лишь сном, но какая-то неясная деталь, оставившая в памяти неприятный след, похожий на выемку от перевернутого камешка на почве, мешала ему до конца в это уверовать и заставляла его говорить с Петром вновь и вновь.

А Петр, бедняга, обрадовался этому общению — между ними давно уже не происходило ничего подобного — и заговорил так горячо и страстно, что он поверил, наконец, в то, что все это — не более чем сон, и уже попытался каким-либо образом притушить, приглушить эту им самим вызванную вспышку нежности, грозящую высокой температурой.

Свои отношения с Петром он давно уже перевел из горячего состояния ненасыщаемой детской дружбы в пласт спокойного, а временами и холодного любопытства, и ему неприятно было наблюдать на лице Петра все признаки буйной радости того возрожденного чувства — дружбы ли, любви, все едино.

И он, вглядываясь, невольно подмечал, как в чуть асимметричном лице Петра, словно поделенном пополам неровной вертикалью, проведенной через горбинку носа, будто бы смещались части одна относительно другой: он заметил как левая щека Петра едва опускалась вниз, отчего нижнее веко чуть-чуть приоткрывало узенькую белую кромку белка.

Ощущение неприязни возникло оттого, что он не может, да и не хочет отвечать на невольно возрождающееся чувство.

Стоящий напротив него человек был ему давно не нужен, совсем не интересен, и, как уже говорилось, неприятен. Петр был уже в прошлом, а оно было исчерпано — он был *применен* там, заполнив пустовавшую тогда нишу чувства. Там он и должен быть оставлен: он не выдержал испытания временем — так, во всяком случае, ему казалось, — не успел измениться.

И тут он удивился тому, с какой легкостью им было произнесено это странное слово «*применен*» по отношению к человеку, когда-то близкому, любимому, и он вдруг с ужасом обнаружил, что после этого слова он сам себя увидел моллюском, морской звездой, выпустившей

свою мантию-желудок на соблазнившихся.

Нет, нет, нет, он был не виноват в этом внезапном охлаждении их чувства, просто люди не выдерживали предлагаемого им жара, взаимного растворения, они не понимали, что от них требуется, и потом приходили в ужас оттого, что они, как им казалось, пойманы, приручены, лишены свободы. Хотя почему им это «казалось»? Ничего им не казалось, все действительно так и происходило — да, их приручили, и они должны были ему что-то дать...

«Ничего бы они не получили, — прошептал ему в ухо маленький чертик или божок, — и ты это прекрасно понимаешь, хотя и стараешься облечь это во всякие прелестные формулы. Ты же печка, и у тебя внутри горят люди, с которыми ты близок. Вот они и сопротивляются. Не хотят гореть, да и во имя чего? Тебя?..»

А они действительно сопротивлялись, восставали, потому что ничего не могли предложить взамен потраченного на них чувства — так ему все это виделось.

Это был такой его самообман, иллюзия, мираж, фата-моргана. Он сам обманывался и влюблялся в человека, ходил с ним под руку — эта привычка проистекала от желания все время касаться любимого, осязая его существо, чтобы, возможно, получить подтверждение в собственном существовании...

«Опять врешь! — заявил божок, — Это я о начале и конце...

С самого начала отношений ты знаешь, что им придет конец.

И ты спешишь, торопишься предложить оче-

редной жертве свою любовь, чтоб она попалась, как муха в подогретый сироп.

Ты предлагаешь им заботу о них же самих: массу мелких, необременительных для тебя услуг, половину из которых им никогда не оказывали.

И этого человеку вполне достаточно.

Он попадаетеся, и вот он уже твой — ведь о нем в этом мире никто не заботился, его никто не любил, а ему так хочется любви и заботы, и он ее получает от тебя, но она укорачивает ему ноги, и он уже не может самостоятельно передвигаться.

Твоя любовь плодит калек.

Вот он, Петр, перед тобой. Ах, как он обрадован — ты с ним опять ласков.

Но ты ласков потому, что внутри совсем погасла печка, у тебя кое-что не в порядке, холодно, и требуется подкинуть дров...

Улыбнись же ему поскорей, и ты увидишь, как он расцветет, и тогда бери его».

Неправда! Он всегда честно предлагал человеку свою любовь.

И он не виноват в том, что он давал много, не получая и толики в ответ.

И он, испытав минутную душевную слабость, улыбнулся Петру смущенной улыбкой, словно уступив нежности, излучаемой всей огромной фигурой Петра — она сквозила в его взгляде, в неловких лишних движениях тела, суете рук, в

немыслимом потоке слов, который вдруг из него пролился, слов, почти ничего не значащих, и в то же время значащих очень много, потому что они, эти слова, в смысл которых вникать было совершенно не обязательно, служили лишь для передачи вспыхнувшей нежности.

Слова лились непрерывным потоком, и каждое будто было увенчано сверху теплым лучистым шариком.

И он подумал об улитке, везущей на себе блестящий от росы домик.

Здесь, в чреве этого гигантского металлического животного, многие нуждались в тепле.

Это видно было и по взорам, чуть затуманенным, ни на что и ни на кого не обращенным, утопающе мягким, как трава в лесу; и по радости, испытываемой от свиданий, которые случаются на этом ограниченном пространстве по несколько раз в день; и по тому, как в свободное время здесь ходили друг к другу в гости из отсека в отсек, приходили в каюту, садились где-нибудь на краешек и говорили, говорили, смеялись, обсуждали что-то.

Состояние нежности, как, впрочем, и потребность в ней, возникало совершенно неожиданно, неосознанно, хотя, наверное, об осознании себя, своих ощущений, речь вести было бы рано: здесь никто ни над чем не задумывался, желания с каждым днем становились все элементарней, и отношения между людьми устанивались совершенно юношеские. Человек словно возвращался в свое детство: время, казалось, не только замедляло свой бег, но и изменяло направление.

Обиды день ото дня воспринимались все более болезненно, поводы для их возникновения становились все более ничтожными, а последствия — все более разрушительными.

Из каких-то дневных соударений неожиданно нарождалось удивительное ощущение незащищенности.

Случалось так, что достаточно было кому-то окликнуть тебя или только дружески коснуться ладонью плеча, и в тебе сразу что-то сдвигалось как ничтожная заслоночка, и вслед за ней, словно только этого и ждали, начинали открываться и открываться другие дверки, створки, и ты вдруг оказывался совершенно открытым, пронцаемым любым дуновеньем. Ты со всех сторон был открыт нежности, ты нуждался в ней, ты ее жаждал, и иногда казалось, что ты ходишь по кораблю в поисках именно ее, ты ее находишь — то тут, то там — и собираешь, но не копишь — о нет, как ее удержать — ты ее тут же и отдаешь...

Вот и Петр ушел совершенно окрыленный.

Он долгое время испытывал чувство неловкости и даже некоторого страха за содеянное (за это разбуженное чувство надо будет платить), но вскоре успокоился. Он решил, что к Петру можно будет в другой раз проявить легкую небрежность или же холодность.

Он был уверен, что с людьми так поступать можно.

Что эта небрежность простительна, потому что в самом разгаре, разливе любви наступало безразличие, граничащее с бессилием или истощением, а затем сменялось полным равнодушием ко всему, сравнимым лишь с безразличием застигнутого в раздумьях запойного пьяницы.

Он вдруг вспомнил самое начало своих отношений с Петром — высоким человеком с лучистым взором, способным смотреть в глаза сколь угодно долго.

Он ни у кого ранее не встречал такого ясного и чистого взора, и это свойство чужих глаз, помнится, тогда поразило его чрезвычайно, как поразила и та легкость, и вместе с тем удивительная надежность незамедлительно установившихся отношений. В его груди сейчас же отыскалось местечко, где, зародившись из точки, напоминающей укол, ошеломительно быстро разрослось томление, переходящее в жар.

Это была любовь. Все так. Он буквально бросился в объятия Петра. Совсем по-детски: так бросаются друг другу в объятия мальчишки, встретившиеся после недолгой разлуки.

Не сумел, не захотел сдерживать любовь — видимо, тогда он в ней отчаянно нуждался, как и всякий, пусть даже очень сильный человек, нуждающийся в том, чтоб его взяли на ручки, прижали к груди, покачали или взъерошили ему волосы.

Хотя, наверное, нельзя ее — любовь — из-

ливать вот так безоглядно. Все это небезнаказанно, и, наверное, усилия нужно было бы направить не столько на то, чтобы подпитать огонек народившегося чувства, как на то, чтобы не дать ему бесконтрольно вырасти, разрастись, заполнить грудь, поглотив все, потому что чаще всего он влюблял в себя и влюблялся сам не от собственной слабости, а именно от избытка сил.

Временами чувство, казалось, било из него чудесным несдерживаемым ключом, и он буквально затапливал им оказавшихся рядом, всем существом своим, всем своим поведением как бы говоря: «Приди, возьми меня. Меня невозможно не взять, от этого нельзя отказаться, я же предлагаю себя в дар, в собственность, и это надежная собственность, потому что я встану даже ночью, я приду, я согрею тебя; если надо, я возьму на себя все что угодно... самую неблагоприятную работу», — и человек не мог устоять, ведь ему казалось, что за него готовы умереть.

Он снимал с себя все степени защиты — ну, совсем как пальто или платье — оставался голым, а потом вдруг оказывалось, что тот, кто предлагал себя когда-то в собственность, вовсе не собирался это делать.

Оказывалось, что он сам завоеватель, отчаянный собственник, и что завоеванный человек уже опробован, ну, скажем, ощупан руками, а затем как-то незаметно, вроде бы сам по себе запускаясь механизм пренебрежения — серия незначительных предательств в виде оговорок,

недоговоренности, молчания, незвонков по телефону. И те люди, которым из-за предложенной температуры чувства пришлось скинуть почти всю одежду, теперь ежились, им было не по себе, их колола обида, они все еще не чувствовали себя обворованными — о нет, напротив — они чувствовали себя виноватыми, да, именно так, ведь это чувство, эти отношения, сделали их совершенно другими, они переродились, поэтому они звонили ему, а он юлил...

Они, быть может, затруднялись облечь все это во внятные словесные формы, но чувствовали, чуяли, почти осязали эту перемену...

Но кто же требует от любви внятности? Хотя, наверное, конечно же, именно от любви ее и хочется получить — в ней залог надежности вложенного.

И кто же требует от любви надежности? Маленькая танцовщица, взмахнувшая для сохранения хрупкого своего равновесия веером, с каждым шагом по канату, конечно же, обретает все большую и большую ловкость, и все было бы замечательно, если б с каждым шагом не истончался тот канат, проложенный в неизвестность. Все так.

И в то же время нельзя сказать, что он дарил свою любовь и отбирал ее у них совершенно осознанно и для себя безболезненно.

Скорее в самом ее начале он безотчетно подчинялся первому порыву, а впоследствии,

смущаясь ее имени — поскольку тогда пришлось бы сознаться, что ему все известно и о развитии, и о будущем охлаждении — он обманывал и себя и свою совесть, малодушно соглашаясь на любое течение событий, оправдываясь тем, что он по возможности как-то сгладит это охлаждение.

Но, быть может; подспудно он все же опасался проявления любого пренебрежения к себе самому, которое, как он думал, существует рядом с любовью, когда на поддержание чувств уже не тратится столько сил.

Этот недостаток сил также свидетельствовал о раннем истощении из-за несдержанности в самом начале, и поэтому все еще неосознанно он стремился первым воспользоваться всеми преимуществами пренебрегающего, отмежевываясь почти осязаемой пленочкой непонимания и от предмета своей любви, и от ее последствий.

Порой, встретившись с любимым человеком, ощутив при этом лишь малую толику счастья, обещавшего, впрочем, через ничтожное время сделаться счастьем большим, он испытывал удивлявшее его всякий раз, неистребимое желание бежать — может быть, для того, чтобы унести с собой, спрятать и сохранить этот драгоценный кусочек, который, по справедливости, следовало бы разделить. И в то же время, отбежав, он неожиданно обнаруживал, что внутри уже счастья нет, а есть лишь признаки,

все приметы того, что оно только что здесь побывало, но от него осталось одно томление — бестелесный туман. И тогда приходило желание возвратиться, чтобы вобрать в себя еще самую малость.

Так было и в его отношениях с Петром, хотя, разумеется, ему представлялось, что все это происходило с ним совсем не так, как обычно, и что он наконец нашел то, что так давно и безуспешно искал, меняя знакомых, друзей, оставляя их один на один с их, как ему казалось, душевным бесплодием.

Ему представилось, что он нашел человека, которого ему удастся поглотить целиком, без остатка — хотя, конечно же, слово «поглотить» грубое, и он его про себя не произносил, потому что иначе ему пришлось бы признаться себе в том, что он хочет владеть человеком, что он собственник, обольститель, вложивший все свои силы в любовь и желающий всю оставшуюся жизнь получать высокие проценты по этим вкладам. Поэтому, наверное, он употребил столь привычное для него слово «любить». Да, именно так, «любить без остатка», и чтоб к чувству этому можно было бы обратиться в любое время, и чтоб оно всякий раз выглядело бы достаточно свежим, независимо от того, сколько времени ему пришлось быть не востребованным.

Он уже не помнил, что он говорил Петру в ту их первую встречу.

Он как всегда просто болтал.

Это была его обычная милая болтовня, в которой сразу же, как ему казалось, должен был проявиться ум или, во всяком случае, его острота и склонность к легким размышлениям, его тяготение к различным словесным кувыркам, кульбитам, только чуть-чуть прикрывающее самолюбование, может быть, и не такое явное, но такое же заметное, как совершенное тело, пусть даже скрытые платьем.

Имей Петр в достатке душевную тонкость, некоторый опыт в делах душевного ободрения, он, конечно же, все это заметил бы и разгадал, раскусил, хотя скорость, с которой проносились и менялись слова и мелькали метафоры, образы, виды, с какой в речи образовывались повороты и предательские ямки, оставляла для этого открытия очень-очень мало возможностей и куда более изощренному в словесных упражнениях уму, чем ум Петра — или что там вместо ума у него тогда было.

Вот вам образец его болтовни.

«Готовы ли вы, — говорил он вполголоса на каком-нибудь партсобрании под занудную, дурацкую речь парторга, когда они уже устроились не в самой переполненной кают-компании, где и происходило это важнейшее событие, а в каюте рядом, где нашли себе пристанище те, кому вроде бы не хватило места в основном помещении и кого тема собрания необычайно быстро привела в состояние полнейшего бессилия; они сидели среди полууснувших, тесно прижавшись друг к другу, довольные и хихикающие.

— Готовы ли вы, — говорил он тогда нарочито серьезно и торжественно, — все усилия вашей души, все ее невероятные многослезные потуги посвятить делу защиты пресвятых рубежей нашей с вами горячо любимой родины?

Известно ли вам, милый юноша, что совершенствуясь в сём предприятии, заунывно как песнь степняка, вам придется воспитать в себе внятное чувство юмора — юмора грубого, жирного, сального, — он выразительно покосился на влажные от слюны губы парторга, лицо которого маячило в дверном проеме, — юмора с губищами и ручищами, фламандского юмора толпы, и юмора тонкого, нежного, слегка анемичного, чуть-чуть, может быть, печального. Вам придется заняться этими разновидностями.

Ибо! — тут он отстранился и понял палец вверх — без этого вам не выжить среди крокодилов!

Посмотрите вокруг, — дурачась, шептал он,

в самое ухо Петру, — киньте свой взгляд окрест.

Что же вы видите? Вот — Буратино!

Он оказался внебрачным сыном Максима Горького! Отчество у него было Изергилевич, потому что он сын старухи Изергиль, Горький по тем временам слыл геронтофилом, а вот вам и Данко — первая люстра молодого советского государства. Кроме того, Блок был некрофилом, Пруст — гомосексуалистом, Белинский — опаснейшим онанистом, «неистовым Висарионом», а Агата Кристи на самом деле вовсе и не Агата, а Агат.

— Бог ты мой! Бог ты мой! Какая возникает в уме жидкая гадость, когда слушаешь нашего парторга, — болтал он, не умолкая, — и при этом всегда почему-то вспоминается, что энтропсия у слонов продолжается меньше минуты, а у быка она заняла бы только лишь 23 секунды, но зато спаривания могут быть частыми.

Кстати, пара львов, например, в Дрезденском зоопарке как-то за восемь дней спарилась триста шестьдесят раз!..»

Если бы подобная чушь не произносилась скороговоркой, не сопровождалась гримасами, ужимками, не прерывалось сдавленным смехом обоих, можно было бы почувствовать, что в ней уже имеется некая порция того самого пренебрежения, которое впоследствии выстроит между ними непреодолимую преграду, по разные стороны которой будут пребывать страдающий и, в лучшем случае, соболезующий ему.

Хотя это соболезнование можно было бы сравнить лишь с чувством досады, которое мы испытываем тогда, когда невзначай наступаем на что-нибудь живое и скользкое. Это сравнение не в пользу соболезнования — чувства куда более холодного, вялого, небыстротечного.

Сколько раз он уверял себя, что если б Петр как-нибудь восполнил, возместил то, что на него потрачено из запасников души; условно говоря, изготовил бы что-нибудь вкусненькое, что-нибудь питательное для той пляски воображения, или для ума — что-нибудь такое, за что можно ухватиться, и, подкрепившись, двинуться дальше по наклонной плоскости отношений и чувств, оберегая друг друга, он никогда бы с ним не расстался.

Но все эти уверения, может быть нарочно расплывчатые, намеренно неясные, уверения и сетования, к которым подошли бы подростковые обиженные губы — могу вам поклясться — были не более чем уловками для его и без того вертлявой совести, которая пускалась во все эти свои метания в первую очередь не от собственной нечистоты, а от желания поскорей найти для себя выход, и которую поэтому можно было легко заговорить, успокоить, уломать, подсунув ей обвинения на любимых людей, положив в основу все уверения, сетования и подростковые обиженные губы.

И он говорил, не переставая.

Но что бы он не говорил, все это не имело

ни малейшего отношения к его глазам, вернее, к их выражению, непрестанно меняющемуся — плутовскому, искрящемуся и, в то же время, на какое-то мгновение, равное по величине, быть может, острию иголки — жалкому, растерянному, молящему, появляющемуся, когда ему казалось, что собеседник на какой-нибудь миг усомнился в доброте и чистоте его намерений (в чем, наверное, прежде всего и следовало бы усомниться), но немедленно, после получения каких-то одному ему понятных подтверждений в благоприятном для него исходе — снова полному сил, жизни, искренности.

Так смотрят в глаза дети, в какой-то миг отчаянно ищущие поддержки, но через мгновение в ней уже не нуждающиеся, потому что нечто другое, как им видится, огромное, уже заняло тесноватое пространство их ума — дети, влюбляющиеся в игрушки с тем, чтобы их тут же оставить.

Им было хорошо вдвоем.

Петр моментально переселился к нему (у него тогда имелась маленькая квартирка), и в свои редкие выходные дни они теперь питались жареными цыплятами — Петр совершенно замечательно их готовил, и вообще он все делал замечательно, легко, быстро, споро, и ему приятно было передоверить Петру любой выбор.

Хотя, осуществляя этот выбор, Петр очень скоро стал отпускать некоторые замечания, которые сначала его сильно огорчали, обижали, и

он вообще не понимал, зачем это все; а потом он решил, что таким образом Петр старается окончательно подавить в нем желание самому осуществлять выбор и тем самым приручить его, сделаться для него незаменимым. И тогда он, как ему показалось, с сожалением и нехотя освободил от пут весь механизм охлаждения отношений. Хотя при взгляде на Петра взор его по-прежнему теплел, но теперь к нему примешивалась горчинка, грусть увядания, подобная той, что насыщает наш взор, когда мы разбираем позабытые фотографии.

Огонек, все еще тлеющий в его груди, напоминал теперь тепло, исходящее от желтых цветов пижмы, оставленных во власти наступающего летнего вечера.

Видимо, Петр неосознанно защищался от него же, от его желания поглотить, растворить в себе человека — что ж, может быть, но только он все равно чувствовал, что любовь уходит от него.

Так остывает в чашечке кофе: на поверхности незаметно образуется мутная пленка, по которой сразу можно понять — кофе остыл...

Его мысли были прерваны. Раздался громкий щелчок — это к его конуре подключился центральный пост: нужен был, собственно, не он, а только его голос, скороговоркой выпаливающий целую кучу слов — из-за скорости произнесения им приходилось обрывать окончания и что-то корезить внутри (как крылышки и ножки темно-синим жукам или лепестки цветов, которые он когда-то давно засовывал в спичечный коробок, а потом их было совестно доставать и хотелось похоронить в клумбе).

Эти калеки-слова оставляли во рту привкус слабого электричества, а сам себе он некоторое время и вовсе напоминал металлическую каракатицу-автомат из какого-то фантастического фильма, кружащуюся по полу, мигая разноцветными лампочками и бубня: «Я влюблен! Я влюблен!»

Замкнутое пространство, давящее, сжимающее его обручем, подкарауливающее на уровне виска каким-нибудь острым выступом; пространство отсеков, стиснутое с боков и сверху, заставляло при ходьбе втягивать голову в пле-

чи, ожидая удара обо что-нибудь, менять походку, которая становилась там какой-то стелющейся, осторожной, отчего и человек начинал почти скользить на четвереньках по всем этим металлическим потрохам.

Может быть, поэтому там, в этих запертых недрах, возникало раздвоение личности, и в человеке уживались, не подозревая друг о друге, два персонажа: истовый служака, способный без разговоров выполнить любой приказ — убить, утопить, и задорный недоросль-клоун — стремительный, неунывающий, жизнерадостный.

Вот так. Служака и клоун.

И у каждого из них — свой язык.

И каждый относился к языку соседа с осязательным презрением.

Но временами границы между ними словно бы разжижались, и островок, а может быть даже какая-нибудь кочка другого всплывала и какое-то время была со всех сторон окружена чужеродной материей. Тогда солдафон вдруг обращался в хрупкого человека у которого, кажется, даже мышцы уменьшались и не так выпирали, и черты лица становились необычайно мягкими, и вместо хамской челки открывался чудесный рисунок лба. Но через мгновение островок тонул, будто его и не был вовсе, и лицо менялось — стягивалось ремнями складок и бляхами скул.

И все-таки человек выживал в этом чреве,

приспосабливался, словно черный уж, легло огибающий любые препятствия.

И он, как собака, вышедшая из воды, мог отряхнуться почти досуха.

Отряхнулся и пошел.

Желтый цвет.

Здесь все было в основном выкрашено в желтый цвет — приборы, щиты, трубопроводы, двери.

Такой цвет должен давать человеку столь необходимое на холодной безразличной глубине чувство тепла, но это было ложью: стоило коснуться чего-либо, как сразу же ощущалось, что твое собственное тепло стремительно убывает, вливаясь в то, к чему ты прикоснулся.

И это ощущение возникало несмотря на то, что многие приборы и механизмы при работе сильно разогревались, и о них можно было вполне обжечься. Но это было другое тепло, иного рода, а его собственное все-таки уходило, или, может быть, так только казалось.

Здесь человека преследовали запахи.

Они появлялись и через какое-то время исчезали. Особенно это было заметно, когда он шел из отсека в отсек.

При переходе из шестого отсека, где размещались вспомогательные механизмы, в пятый ракетный отсек, являющийся одновременно и жилым, его встречал явственный сладковатый

запах гнили, и это было неприятно каких-нибудь пять-шесть шагов. Потом обоняние теряло свою остроту, и тогда запах вроде бы исчезал, и если бы потребовалось вновь ощутить на себе его неприятное действие, следовало бы вернуться в шестой отсек, постоять там какое-то время, а затем снова войти в пятый.

А в четвертом пахло подгоревшим маслом — здесь находился камбуз, готовили пищу, а в седьмом реакторном отсеке было очень прохладно, и отрицательные ионы делали свое дело — придавали воздуху все оттенки свежести, и в то же время там чуть-чуть отдавало металлом.

В других отсеках можно было натолкнуться на целые области запахов: например, где-то рядом с пультами пахло перегретой изоляцией, а вот чуть в стороне уже не пахло. Все это способствовало тому, что в человеке всегда жила, присутствовала, существовала готовность к встрече с каким-нибудь духовищем — непривычным и потому тревожным или наоборот — привычным, успокаивающим, пусть даже чуть гнилостным.

Запах Петра его не раздражал, и это было важно, ибо он знал, как легко можно возненавидеть человека за один только его дух.

И в самом начале их отношений он, помнится, вдруг всполошился, потому что решился на них, не уяснив для себя до конца столь важную вещь. И он — теперь это без улыбки нельзя было

вспоминать — встал рядом с Петром и незаметно — смешно, конечно — осторожно понюхал его плечо.

Пахло вымытым телом, запах был лишь слегка кисловатый.

Хорошо, что Петр так пах.

Он тогда очень этому обрадовался и даже коснулся его плеча, и в этом прикосновении была заключена какая-то очень-очень давняя радость.

Может быть, такая же, как та, что заставляет школьников ходить в обнимку. Кто знает.

Ему было приятно об этом думать, но затем он с недоумением обнаружил, что память о прикосновении жива до сих пор, а чудесные и загадочные последствия того события и возникшее в груди чувство счастья, такого нужного, такого желанного когда-то, виновного в установлении удивительного внутреннего покоя и в упоительной свежести, чистоты всех его чувств — живы в ней и теперь.

Какое-то время он еще колебался, готовый спугнуть тот лохматый, словно шаловливый щенок, комочек счастья.

Его колебания были подобны тем, что испытываем мы перед купанием при входе в воду, прежде чем окунемся с головой.

Но потом он отдался этому счастью; и незамедлительно во всем его существе, как и во всем, что он делает, будет делать, о чем он ду-

мает и только думает думать — установилась необычайная легкость, сравнимая лишь только с легкостью, с какой выбалтывает свои секреты птичка, скажем, иволга, известная болтунья.

И еще ему стало казаться, что он давно и мучительно только этого и желал, и возможно теперь он бесчисленное количество раз на дню будет спрашивать себя: есть ли там у него внутри счастье, там ли оно еще, такое ли оно, как мгновение тому назад, и все это будет похоже на то, что делают все дети, прячущие в тщательно вырытое углубление в земле, в дышащую теплой прелью ямку свои сокровища: бесценные разноцветные бусинки, ничего не значащий для других мусор, бумажки, фантики, прикрывшие все это осколком стекла, засыпавшие его сверху землей, прижавшие ее ладошками, сотню раз на дню подбегающие и осторожно, чуть дыша, с тревогой и любовью разрывающие свой клад, свое богатство, чтобы проверить, цело ли оно еще.

А счастье — неумолимое, неуловимое — способное то сжиматься внутри до булавоочной головки, когда кажется, что оно там вот-вот потеряется, и сигналы-толчки, поступающие от него, лишь едва-едва уловимы; то неожиданно вырастающее до гигантских размеров, стремительно заполняя все без остатка, каждую твою лесенку, уголок, прихожую, напоминая о своем присутствии так пронзительно, что можно было бы говорить о его уколах, и так сильно, что можно было бы вспомнить о стремительном объемном

возгорании, и еще так громко и гулко, словно по булыжной мостовой шагает каменный исполин, и тебе — робкому, страшщемуся его приближения — передается каждое сотрясение почвы.

Счастье будет жить в тебе ровно столько, сколько нужно ему. Оно то приближается к порогу насыщения, — и тогда возникает удивительное ощущение танца, будто танцует кто-то, может быть ты сам, постепенно ускоряя движения, перемещаясь все ближе и ближе к чему-то опасному, может быть очень-очень горячему, из-за чего ускоряются все реакции, истончаются все ощущения, когда чувствуешь любое дуновение и движение материи, и нет различия между тобой и твоим окружением — ты и воздух, и стены, и листва, и дорога — и ты рядом с той гранью, с тем пределом, когда один миг равен всей жизни и обычная твоя жизнь — та, другая, прошлая — вдруг представится в это мгновение слишком плоской, жалкой и пресной, но лишь потому, что открылись чудесные шлюзы, и ослепляющей оглушающей галдящей массой счастье хлынуло в тебя, и разбит ты без всякой боли на множество осколков, которые по сути своей тоже ты, но у каждого теперь своя стереометрия.

А то оно замрет в тебе, повисшее, покинутое, и возникает такая тишина и исчерпанность, словно ты в опустевшей комнате, обратившийся весь в истончившийся слух, а из комнаты вынесли почти все вещи, все эти сердечные манатки, безусловно имеющие отношение к людям, любви, человеческому сердцу, несомнен-

но связанные с ними ничтожными нитями, теперь безжалостно смятыми, разорванными, спутанными — все эти стулья, кресла, шкафы.

Оставшиеся вещицы своим потерянным видом ранят так глубоко и так больно, потому что кажется, что они не в силах восстановить те нити, хотя и пытаются это сделать; но вот выносят и их, и осиротевшая комната, жадно ловящая твой голос, отражающая его многократно, словно хочет сказать: «Ты все еще здесь? Как хорошо. Я рада...» — и сейчас же забегают по стене солнечные зайчики, Бог весть откуда здесь появившиеся — может быть, так она приходит в себя.

Люди должны быть благодарны стенам.
Хотя бы за их долготерпение.

Хотя бы за то, что они умеют прятать от тебя тебя же самого — тебя прошлого от нынешнего — и лишь только изредка, где-нибудь за отодвинутым шкафом, обнаружится кусок прежних обоев, когда-то светлый, а нынче потемневший, но изо всех сил пытающийся казаться нарядным, словно клочок прежней жизни, и грусть ломким сухим пером проведет по твоему кадыку.

А вот здесь нет стен.

Здесь есть переборки, перемычки, тепло-трассы, трубопроводы и разные прочие штуки, называемые словами, лишенными всякой мягкости — здесь на нее не обнаружить ни малейшего намека. Эти слова состоят из грохочущих слогов-глыб, готовых в любой момент на тебя обрушиться; они грубо сбиты или же скручены, свинчены, а иногда, словно спаяны, склепаны; а сколько они имеют лишних, казалось бы, ненужных выступов и полированных прохладных сочленений и холодных пустот. Они приникают к твоему сознанию, стесняя его еще очень-

очень долго после того, как отзвучали.

Вот разве что спинка кресла способна обнять, приняв на себя, несмотря на четырехчасовую вахту, кажущуюся невыносимо огромной из-за тянущегося, словно молодая смола, времени, твои человеческие лопатки. Но это только видимость, эта комфортность ложная, обманчивая — да-да, она лжет, — и под дерматином спинки кресла, вроде бы теплым, а на самом деле с легким нытьем вытягивающим из тебя твое собственное тепло, всегда отыщется какой-нибудь винтик, и он не сразу, но часа через три, вылезет и вопьется в ослабевшие позвонки, и тогда нужно встать, походить, хотя бы на месте, потому что на одном квадратном метре этой тесной конуры — боевого поста — ходить негде и можно только мотаться всем телом из стороны в сторону, как это делает медведь в клетке, а еще можно потянуться, хрустнув суставами и, остервенело вцепившись в поясницу, попытаться размять ее пальцами.

Но все это нужно проделать машинально и ни в коем случае не уделять этой немочи внимания, иначе она способна изгнать пугливое хрупкое чувство счастья, — и она действительно гонит его. Но вот если, потоптавшись на месте, улыбнуться, посмотреть в низкий потолок, увидеть там сочные капли застывшей когда-то белой краски и представить так же, как в детстве, что это и не краска вовсе, а перевернутая картина, у которой кто-то шутя поменял верх-низ местами, или лучше — топографичес-

кая модель местности, где есть горы, холмы, а вот здесь должны быть ручейки, а лучше закрыть поскорей глаза и вызвать в самом себе видения дома — того самого, когда-то наполненного то глухими, то звонкими или тихими спокойными голосами твоих близких, оперив этот мгновенно улетающий от тебя мир яркой зеленью за окнами и солнцем, ветром, водопадом растревоженной листвы, — тогда этот шарик тихого ликования, наверное, можно будет удержать, хотя стоит ли... У него, возникшего по воли твоего сердца, теперь своя жизнь, и он волен остаться или улететь.

А еще он любил — так же мысленно, закрыв глаза, — представить себе соцветия пастушьей сумки — растения, способного за лето дать до четырех поколений, от проклюнувшегося зародыша до цветка и семени — эти желтые китайские фонарики, развешанные на тоненьких стеблях.

Он как-то понюхал их и сразу же удивился, почему он раньше никогда этого не делал: они пахли как сирень, жасмин или жимолость — так хорошо... Почему же ее не собирают охапками, не ставят в вазы, не дарят любимым?

Он тогда, помнится, сорвал их прямо у дороги и долго вдыхал, и соцветия доверчиво прилипли к носу, смешно щекотали ноздри. А потом он их даже пожевал, ему почему-то очень захотелось ощутить их вкус, и он, не раздумывая, отправил их в рот, немало не заботясь о чистоте цветка — почему-то он был уверен в

том, что цветок, пусть даже сорванный вот так у самой обочины, будет чистым, так как растения (так ему вдруг представилось) оставят всю эту придорожную грязь в корнях, листьях, словом, где угодно, но только не в цветах — в этих своих нежных, всегда стыдливо, с сомнением и надеждой чуть-чуть только приоткрытых детородных органах. И тогда маленький комочек горечи, разгоревшись, ожег небо и язык; казалось, цветок платит этой горечью за поедание, и еще казалось, что для истинной злости у цветка не хватило сил...

Еще он любил сладковатый до одури запах цветущего татарника — стройного, мощного, веселого, с такой лихой силой вырвавшегося и даже приподнявшегося над поверхностью какой-нибудь компостной кучи, будто вот-вот он взмахнет своими узкими, лоснящимися на солнце колючими листьями словно крыльями и вырвется из земли, как из окопа.

От его сиреневых соцветий, похожих на подстриженных новобранцев, пахло так сильно и властно, что он вполне понимал очумевших от цветочной похоти шмелей, то и дело выпадавших из сиреновой путаницы.

А были еще и другие разновидности все того же татарника, с большими цветами; там бутоны по своей крепости, прочности, да и по рисунку чешуек походили на панцирь черепахи, пластины средневековой кольчуги или атласную чешую

луковок церквей, и на самой маковке этого бутона был запахнут и чем-то завязан, закручен вход в цветоложе, откуда, в какой-то одному только цветку известный момент, неожиданно выплескивалась мохнатая теплолюбивая компания лепестков.

Но вот в этом невообразимо огромном часовом механизме, куда он попал, как ему иногда представлялось, по необъяснимому стечению обстоятельств, где ему чудилось порой, что все, что происходит, случается не с ним и не сейчас, это все равно что сон какой-то, шутка глупая, чей-то бред, в котором он участвует Бог знает почему.

В этом механизме, поглотившем человека целиком, пристроившим его где-то там у себя внутри, связавшим его тщедушную плоть со своим телом, тоже вибрирующим, но совершенно по другим законам, не выживало ни одно растение; и даже репчатый лук, посаженный вестовым в кают-компанию в огромную железную банку из-под сухарей, бодро высунувший оттуда свои узкие зеленые язычки, уже через неделю совершенно загибался, его перья желтели, никли и жухли, и он истлевал. И выживала лишь тродесканция, она пускала свои ломкие, жалкие бледно-зеленые плети, торопливо кое-как выгоняла новые и новые, но все более слабые отростки, этой своей безалаберностью напоминала обезумевшую маркитантку, что в годину испытаний и потрясений то и дело разрешается от бремени. Это растение, хоть и со-

вершенно обессиленное, все же дотягивало до конца похода, оно словно уязвляло душу, наполняя ее чувством вины, и люди, торопясь, пробирались мимо этой зеленой немочи.

Над его головой забил какой-то прохладный источник, сопровождаемый звуком, вибрирующим на самой верхней границе слуха; и, казалось, в это неживое звучание вмешалась чья-то давняя-давняя просьба, взявшись за выполнение которой теперь, через столько времени, пришлось бы, наверное, зажить какой-то прежней жизнью, которая на самом деле давно прошла.

И лишь спустя некоторое время он понял, что произошло: просто над головой через полузакрытый грибок вентиляции забила струйка холодного воздуха, и сейчас же на мнемосхеме высветилась голубая улитка — включили отсечный вентилятор: закончился «режим тишины» — такое состояние внутренностей этого монстра, когда нельзя того, нельзя этого, и еще много-много чего нельзя — хотя бы запускать вентилятор и хлопать переборочной дверью. Это хлопанье, кстати, сейчас же раздалось: кто-то наверное неосторожно ее закрыл, и удар через стенку корпуса, перетекая по перегородкам, проходя по пути через его слух, нервы, плоть, ушел дальше в многокилометровую, кажущую-

ся неподвижной сумеречную толщу воды, охватившую со всех сторон корпус этого железного кита, перегородчатого страшилища, будто жалкую дробину, угодившую в желе; этот хлопок где-нибудь далеко, у чужого берега, может быть, разбудил полусонный приемник, и тот, спохватившись, зашелестел, торопливо выдав встрепенувшемуся оператору, что, мол, там-то, по пеленгу такому-то, крадется только что выдавшее себя нечто.

Переборочная дверь закрылась еще раз; за перегородкой, отрезавшей его капсулу от остального отсека, послышались голоса, затем шлепнула дверь ближайшей каюты, ключ залокотал в замочной скважине, наконец, распахнулась дверь его собственного поста, и он увидел кусок отсечных изломанных труб, голубого линолеума и заодно — своего сменщика.

Он вскочил, заторопился куда-то, и в этот момент все, что этой ночью так осторожно, так бережно выкристаллизовалось, обретало плоть, обрело и душу.

Но все это замкнулась, закрылась в каком-то детском тайнике, из которого потом явится к нему неожиданно и тихо.

Ночные переживания оставили в душе след — зудящую ранку.

Эта грусть была похожа на досаду, что испытывает ребенок (так подумает он много позже), торопливо забираемый родителями из детского сада, когда его только что возделанная

песочная крепость быстро затапывается другими детьми.

А пока эта печаль укладывалась внутри, в глубине его души, в уютную бухту канатиком, по-морскому.

Наступило обычное подводное утро.

Хотя, когда о здешней жизни кто-нибудь скажет: «наступило утро», то подразумевается, что оно наступило совершенно условно, лишь благодаря словам, которые можно произнести.

Какое тут взаперти может быть утро? Все это условно, по корабельным часам, так же как и день, и вечер, и ночь.

И вахта, начавшаяся в полночь, закончившаяся через четыре часа, принесла освобождение от необычной душевной работы, из-за своей непривычности неприятной или даже мучительной.

Это ощущение было странно похоже на то, что мы чувствуем, встрепенувшись утром от богатого событиями сна, когда он не тревожит сознание — о, нет! — а наполняет его ожиданием счастья, и потому день уже чреват почти телесной непроясненной радостью будущего.

Ум, страшщийся вынужденного четырехчасового молчания, одиночества, с неожиданной силой цепляется за любую, даже самую незна-

чительную, но безусловно дорогую соринку прошлой жизни, прошлого чувства (конечно же, самого светлого) и вызывает ощущение радости от возни с ней или с ним. Но вот эта возня, поначалу всего лишь невинная игра воображения, требует все больше и больше усилий, и ведет к тому, что ты отыскиваешь в себе что-нибудь не очень привлекательное, и тотчас же с куда большей радостью ловишь вестников окончания этого труда, которые связаны с пробуждением окружающего мира — кто-то прошелся, где-то рядом хлопнула дверь — и человек говорит себе: «Вот и утро».

И сейчас же в его душе найдется место для той самой печали, что затем будет поглощена подводным дном, столь богатым чужой непреклонной глупостью, затягивающей в свою окоелицицу все и вся, где ты — вовсе и не ты, а медлительная окаянная бестолочь, лишенная права выбора, которую за это еще только ждет наказание и которая в ожидании его будет выполнять и то, и это, и Бог весть что вообще, и будет вести себя так, как предписано.

Кем, позвольте узнать?

Да никем.

Сразу же после ночной вахты следовало идти на завтрак, и это было не единственным нарушением ритмов обычной человеческой жизни, потому что после завтрака предоставлялось время отнюдь не для бодрствования, а для отдыха, который здесь никто не называл сном.

Это был самый большой отрезок свободно-

го времени в сутках и им было бы странно не воспользоваться, потому что только тогда можно было просто пролежать, а если повезет, то и проспять подряд часов пять, а если не было никаких тревог, то и шесть или даже шесть с половиной.

И вокруг того лежания, вожделенного будущего лежания, строились мысленные планы в первые минуты дневной вахты, когда в кресле на посту, прикрыв глаза, люди с улыбкой на устах погружались в тихое созерцание оранжевых кругов, сгустков тумана и других неясных картин, возникающих на внутренней поверхности век.

И потом все шли на завтрак, словно соблюдая некий ритуал, от которого зависел успех будущего сладкого засыпания (если, конечно, оно вообще будет, это засыпание), умываясь перед поглощением пищи так, как умывались бы перед самым настоящим завтраком, который происходит пока только в мыслях *там*, на земле, в собственной квартире вместе с близкими, которому предшествовал бы настоящий сон в кровати, а сну бы предшествовали разговоры, и любовь, и все такое.

Он никогда не успевал первым подойти к умывальнику, хотя хотел всегда это сделать, всех опередить, и, появившись возле раковины, он с раздражением видел, как над ней нависает затылок соседа по каюте. Он долго не мог понять, почему этот жирный с плотными складками кожи

затылок, поросший черной блестящей шерстью, немедленно под струей намокавшей, его необъяснимо раздражает.

Сначала ему казалось, что чувство досады вызвано тем, что он просто опаздывал к умыванию и вынужден был ожидать своей очереди. Но каждый раз, наблюдая как вода обильно, ему все хотелось сказать — «жирно», да, именно жирно, смачивает коротко стриженные, похожие на плющ волосы, спускающиеся вниз по короткой шее этого человека, как по склону почти что к плечам, — ловил себя на том, что он почти *ненавидит* его.

Он тогда был очень обрадован тому, что нашел точное слово. Да, конечно же, ненавидит, и вовсе не эти волосы, вовсе не эту шерсть, выстриженную гриву, а уши, что теперь совершенно ясно — ну, разумеется, уши, эти большие, толстые, похожие на какие-то неаккуратные буквы, которые под руками умывающегося послушно меняли форму: например, Б превращалась в Е, а оставленные в покое, они сейчас же разгибались и, чуть ли не хлопая, возвращались на место. (Хотя, справедливости ради нужно было заметить, что звука все-таки не было.)

Конечно же, причиной его ненависти были уши, как он раньше не понимал.

Ему вдруг захотелось их потрогать, чтоб ощутить отталкивающую упругость и увериться в своем отвращении.

Он даже обрадовался этому желанию и, можно сказать, даже полюбил эти уши в тот момент

не меньше, чем ребенок, который любит неопрятную плошку, которую он только что вылепил из сырой глины.

Он тихо смотрел на них именно как создатель, ну, как первооткрыватель, по меньшей мере.

Он даже придумал сцену и сейчас же воплотил ее, сделав вид, что у того бедняги что-то есть там за ухом.

«Что это у тебя там?» — спросил он озабоченно. — «Где?» — отозвался тот, выпрямившись, вглядываясь в зеркало. — «Да вот, — и он потрогал его за ухо, очень довольный тем, что ему это удалось. — Да нет, ничего, показалось, мыло, наверное». — «А-а...» — сказал тот успокоено и продолжил плескаться.

А он немедленно отдался изучению всех оттенков полученного впечатления: уши оказались очень мягкими, почти ласковыми на ощупь; значит, дело не в них, хотя и эта их ласковость, безусловно, будила в нем какое-то раздражение. Но причину его ненависти следовало бы искать не здесь, а где же?

И тут ему отрылось, и произошло это тотчас же, как только тот — умывающийся — приступил к вытиранию мохнатым полотенцем шеи, лица, которые из-за этого предприятия представились единым целым. Он проделывал это с гримасой огромного удовольствия, казалось, он стирает полотенцем кожу, так быстро и ловко он перехватывал его на лету, ну совсем как подхватывающая удлиняющиеся

куски сырого теста женщина, занятая изготовлением лаваша.

Он понял, что ему ненавистна именно эта, открывшаяся в обтирании, жажда телесных удовольствий, виденная им десятки раз, но только сейчас осознанная; эта бодрость, жадность, ловкость, и та сила, с которой человек это делал, та страсть, с которой он предавался подобному занятию, та почти звериная радость, что лучилась в каждой складке его тела, то разухабистое кряканье.

Он чувствовал, что ненавидит силу чужой жизни.

«Ну, зачем так яриться, — подумал он об умывающимся, — ведь через час все равно придет сон?»

А потом он посмотрел на себя в зеркало: лицо его выглядело усталым, злым, но лишь только взгляд его сместился немного в сторону, лишь только он потерял свою остроту и упрямую неподвижность, как ему показалось, что оно сделалось чуть ли не жалким, разве что не молящим, и это было отчаянно неприятно осознавать, и он принялся почти столь же поспешно, как и предшественник, плескаться и чуть ли не так же, чуть ли не с такой же силой обтираться после.

Прохладная кремовая рубашка с накладными погончиками ласково касалась кожи, когда он, не торопясь, застегивал на ней бесчисленные пуговицы.

Она, пожалуй, открывала тот небольшой список вещей, которых здесь хотелось касаться.

А еще тянуло прикоснуться к маленьким якорькам, которые, казалось, одним ударом клюва посадила на пуговицах какая-то неведомая птица.

Таковыми же якорьками были украшены и игрушечные стаканчики для кофе.

Верхнюю пуговицу на рубашке разрешалось не застегивать, и это, как ни странно, сообщало утреннему процессу привкус некоторой домашности, уравнивая в правах на эту пуговицу и старших, и младших.

У каждого за столом было свое место, и каждый вынужден был из раза в раз видеть напротив одни и те же лица.

Их случайное отсутствие вызывало волнение, и он даже скучал по ним во время ночной вахты; но все же скучал он, конечно же, не по ним, а по разрушенному обряду утренней еды, которую удобнее всего было поглощать в привычном окружении — например, равнодушно уставившись в физиономии жующих соседей, тупо отмечая крошки хлеба в бороде напротив и попавшие в ложку или в стакан где-нибудь на пятидесятые сутки плавания чьи-то отросшие усы.

Тогда же он начинал примечать, что губы парника, пожалуй, слишком тщательно собирают всякие там крошки, прикусывая их губами; тогда же он слышал звуки, что сопровождали

все перемещения ложки в соседском рту, и исподтишка, со злой радостью рассматривал лицо человека напротив, с некоторым тихим восторгом отмечал его усталость, дряблые мешки под глазами, убудочность взора, рассеянность, расхлябанность, нездоровый цвет тугой кожи.

Здесь можно было отпустить бороду, что на берегу было невозможно и против чего было немало всяких директив, приказов, разъяснений: считалось, что борода не позволяет резиновой маске противогаза плотно прилегать к коже, из-за чего, якобы, остаются щели, и отравленный угарным газом воздух при пожаре будет попадать под маску, удушая человека.

Но в первые дни плавания начальство смотрело на это нарушение сквозь пальцы, и лица стремительно обрастали жесткими зарослями курчавых волос, словно приаральские тугаи. И эта перемена позволяла соседям напротив с беспечностью мух застревать взглядом в этой заросшей топографии, и с мнимым душевным расположением искать и отыскивать в чужой поросли застрявшие крошки.

Где-то на пятидесятые сутки командир — чаще всего на обеде, реже на ужине — набычив голову, в ожидании второго, мог сказать какому-нибудь очень кудлатому: «Приказываю вам сегодня сбрить бороду!» — при этом он взглядывал выбранной жертве в глаза, дожидаясь безликого: «Есть, товарищ командир!»

Какое-то время он наслаждался, а может быть, лишь с интересом прислушивался к неслышимым звукам вулкана возражений внутри того бородатого бедняги. При этом он каким-то образом все же слышал, как там внутри у несчастного вверх из жаркого жерла выбрасывается пепел злости, как там по треснувшему, почти прозрачному от жара склону стекает лава желчи, и как, вращаясь, набирая все большую силу, летят куда-то на дно души огромные валуны обиды.

Командир в такие минуты хрестоматийно напоминал завсегдажая филармонии во время исполнения оркестром любимейшей сюиты. И его лицо напоминало, почему-то хочется сказать — лицо, да, пожалуй, именно лицо, а не что-то иное, болотной цапли, что, выгнув шею, готовится клюнуть затаившуюся лягушку. И одновременно оно походило на физиономию вечного вестового кают-компания Попова, который, наполнив стеклянную банку тараканами, замкнув ее крышкой, с интересом ежедневно наблюдал за их истощением, подставив банку вплотную к лампе.

Но вот, дождавшись-таки: «Есть, товарищ командир!» — взором командира овладевает тоска, и он, с выражением: «Господи, я так и знал, что опять ничего интересного не будет!» — вяло роняет: «Ладно, доложите», — и покидает свое место — кресло во главе стола, расположенного в середине кают-компания, занять которое в его отсутствие считалось признаком корабельной серости и вырождения.

Он вспомнил это командирское «NN, сбейте бороду», наверное потому, что его все еще не оставляло раздражение, и ему, по-видимому, хотелось просто заговорить это чувство в себе, заболтать, умаслив каким-нибудь случаем. Но этого не произошло, и раздражение продолжало жить в нем, чуть стихая, казалось бы, только затем, чтобы вновь, собравшись с силой, разгореться.

Сначала ему представлялось, что причина — тот мягкоухий здоровяк, вечно его опережающий, и какое-то время он верил в это, жестко спрашивая самого себя: «Не так ли?» — и ему даже почудилось, что на этот вопрос внутри него звучит такой же резкий ответ: «Да, это так».

Но потом ему стало казаться, что недовольство, почти негодование обреталось в нем и прежде, и будто некто, расположенный где-то здесь, может быть, в отсеке — хозяин этого пространства — не отпускает ни на мгновение струны, ведавшие в нем недовольством, и лишь иногда касается их небрежной рукой; и тогда раздражение нарастает так, как может нарастать только звук, извлекаемый из крепко натянутых жил.

Эта мысль испугала его. Будто по нему пробежала мгновенная внутренняя дрожь, словно он коснулся какой-то тайны, которую от него тщательно скрывали.

«Все это мистика, — подумал он и быстро

повторил несколько раз, — мистика, мистика, мистика...»

Конечно, это мистика, — теперь он в этом абсолютно уверен, потому что здесь, под водой, достаточно лишь чуть-чуть изменить угол зрения или скосить глаза в сторону, и уже станет чудиться, что кто-то промелькнул вблизи, или же кто-то в упор на тебя смотрит, и тогда оживут все эти трубы, люки, трассы, они станут суставами, сосудами, нервами, Бог знает чем.

Он пришел в себя от ровного гула вентилятора, — было что-то неживое, безжалостное и вместе с тем привычное и объяснимое в этом звуке. Это, видимо, и вернуло ему самообладание. Но окончательно отрезвило его то, что перед трапом в кают-компанию он вступил в область запаха, исходящего, от цистерны грязной воды, и это, отметил он спокойно про себя, не просто гнилостное духовище подпольного отстойника, а какая-то наглая симфония вони. Да, именно так...

Раздражение, казалось, отступило, и он, перехватывая прохладный тусклый никелированный поручень, отрадно откликающийся на каждое его пожатие, стал подниматься по трапу в кают-компанию, приказав себе во что бы то ни стало ни на что не обращать внимания, тем более, что он знает наизусть всю последовательность еды, где самым значительным может быть командирское «побрейтесь!».

В кают-компании воздух прохладен.

Он попадает туда сквозь множество мелких отверстий на подволоке.

Поток силен, и под ним чувствуешь себя неприятно, будто стоишь под многочисленными струйками воды, стекающими из дуршлага, в котором промывают только что откинутое спагетти.

Ему понравилось это сравнение. Ему показалось, что он знает, для кого и кто готовит эти спагетти.

Их готовит его любимая маленькая бабушка.
Для него.

У нее крепкие руки, она подбрасывает спагетти в дуршлаг, вся куча в воздухе оживает и кажется чудовищем, у которого такие упругие щупальца — а может, это волосы Медузы Горгоны, — а бабушка ворчит, и щеки у нее словно спелые яблоки, а он столь мал, что может ответить на это ворчанье только тем, что сейчас подойдет сзади, дотянется, обнимет и поцелует ее за ухом, и бабушка вздрогнет, рассмеется, скажет: «Да ну тебя!» — и, очень довольная, положит ему гору спагетти, будет сидеть рядом, смотреть, как он ест, подкладывать ему то и другое, будет просить попробовать аджики, в которой скрыто множество едких иголочек, что впиваются в язык — ну совсем так, как это бывает, если разжевать все тот же цветок сурепки, а если переборщить, то во рту все займется, как от непереносимой горечи, что будит небо, а лучше сказать, просто ошарашивает его, заставляя долго держать рот открытым, учащенно дышать, утирать слезы и указывать бабушке на стакан воды, который она, смеясь, сейчас же ему подаст.

Кают-компания была пуста, и в этой пустоте было нечто такое, что подталкивало его к детским воспоминаниям.

Словно кто-то только и ждал, специально высвободив для него это пространство, чтобы выстудить прохладным воздухом длинные отдели на его спине, и подхватив возникшие в нем видения прошлого унести их подальше отсюда в трепетный космос, принадлежащий только ему одному.

И это похищение, произойди оно на самом деле, не расстроило бы его вовсе.

Сейчас ему казалось — попроси его кто-либо, и он с радостью поделился бы любыми своими переживаниями, как бы глубоко они не залегали в той пазухе, где прячутся все чудные душевные дары.

Он устроился на своем обычном месте — в углу дивана за дальним столиком — и, как всегда, неторопливо вписавшись спиной в угол, обжил его, развернулся ко входу, и подвернув под себя ногу, сел на левое бедро, облокотившись о стол.

Теперь он не нашел бы в душе ни следа от недавнего раздражения, хотя где-нибудь там внутри было, наверное, темное пятнышко, подобное тому, что ищет врач на рентгеновском снимке грудной клетки.

С этого момента он словно утратил какую-

то часть своего зрения, потому что почти не замечал происходящего, хотя раньше, начини заполняться сослуживцами помещение, и даже покажись в дверном проеме голова первого из них, стань он непременно толчками подниматься по трапу как какой-то поршень или игрушечный болванчик в шкатулке, подпрыгивающий при нажатии кнопки, то он немедленно ощутил бы, как им овладевает досада, появляющаяся, возможно, из того вечного темного пятнышка, в котором она потом и исчезнет.

Он не заметил, как за столом появился Костя — необычайно хрупкий, высокий блондинистый фронт.

С ним в обычное время он непременно вступил бы в словесную перепалку, и Косте досталось бы непременно.

Но его сегодня не раздражало как Костин голос, обращенной к вестовому, расцветает вальяжной нежностью, чтобы с помощью примитивных ухищрений выпросить добавки.

Раньше он придумал бы для этой ласковости какой-нибудь новый эпитет, назвал бы ее, скажем, сладкой и липкой, сказал бы, что она пристаёт к человеку, как свежее тесто, и ее потом никак не снять с пальцев.

Это состояние было для него необычным.

Казалось, сознание, отбрасывая все привычное, внимательнейшим образом исследует какую-нибудь упущенную ранее, ничтожную на первый

взгляд деталь, будь то трещина на фарфоровом стаканчике с кофе, похожая нынче на контур Нила или на соединенные с огромной ладонью длинные пальцы вестового, подающие чашку кофе будто выпавшего из гнезда кукушонка.

Лишь через какое-то время он с удивлением обнаружил за своим столом еще одно существо — всегдашнего своего сотрапезника, Вову-механика, нечесаного заморыша и, как он его звал, «нашего маслопупа».

Вову он всегда прикармливал паштетом, а потом наблюдал, как тот ест, как у него отпускает какую-то давным-давно заведенную мимическую пружину, и черты лица становятся мягкими, а щекам возвращается детская припухлость.

Он любил дожидаться Вовиноного: «А ты точно не будешь?» — и тот, успокоенный, хохотнув, отправлял злосчастный кусок за щеку.

Ему нравилось кормить Вову, быть рукой дающей, могущей вообще-то дать или не дать.

В таких случаях он надевал одну из своих масок под названием «холодность», делал вид, что забыл. Вернее, не забыл о Вове, а собирается сегодня все это добро съесть сам, ибо имеет, наконец, на это право; и Вовик, привыкший к ежедневным угощениям, проявлял тогда все признаки беспокойства: нервно дергался и обиженно застывал.

Это вызывало удовлетворение и даже уми-

ротворение, а смуглый Вова, напустив на себя равнодушие, чуть-чуть, но все-таки заметно бледнел, будто ему все равно, съедят сейчас то, на что он рассчитывал, или не съедят.

И, наблюдая исподтишка за «тренируемым», как он прозвал про себя Вову, он испытывал странное удовольствие — как рыболов, у которого клюет, он при этом старался не переборщить, не перетомить беднягу, а то еще обидится, и в силу этого у него, может быть, разовьется даже самолюбие, достоинство или там гордость (а это уже никак не входило в его планы), и он, отодвинув тарелку, скажет: «Спасибо, не хочу!»

Но нет, ничего такого не случилось, и он всегда успевал вовремя подсунуть Вова тарелку и сказать: «Прости, забыл», — тот улыбался, прежде чем проглотить кусок, и он сейчас же чувствовал опустошение, похожее на бессилие, и испытывал желание ударить Вову.

Но теперь ему хотелось ударить себя, или чтоб Вова ему наконец вломил, и тогда, на другое утро, ощущая в себе непроходимую топь, он предлагал ему свою порцию вполне искренне и, пожалуй, даже чересчур поспешно, а тот, чувствуя все же во всем происходящем некую необычность, ненатуральность, брал все это с тарелки настороженно и смотрел в его глаза так, как будто что-то ему открылось, и теперь-то он все про него понял.

Ему становилось не по себе, он ощущал холодок разоблачения, опережая которое, он даже собирался тут же покаяться, перед собой ли, пе-

ред заморышем ли, ему еще было не ясно, но лишь только Вова открывал свой рот и произносил что-либо, как становилось понятно, что он — ни о чем не догадывается.

Но сейчас он почти машинально подвинул Воле свою порцию, а потом почти с удивлением наблюдал на его лице улыбку и умиротворение.

В другое время он бы, пресытившись, отворотил свой взор от проявления человеческой радости и, наверное, обратил бы внимание на еду, не преминул бы отметить вслух то, что сливовый сок пахнет железной банкой и смазочным маслом, или сказал бы, что ломтики колбасы в последнее время прозрачностью напоминают листики осины, которые почему-то не трепещут на ветру, а оплывающий кусок сливочного масла назвал бы погружающимся в желтые воды печальным дебаркадером, и это не показалось бы ему подозрительно красивым — напротив, он предпочитал когда-то говорить о еде нарочито пышно, экспериментируя, соединяя почти не соединимые слова, прислушиваясь к их звучанию, используя метафоры, может быть, не всегда точные, но произносимые всегда насмешливо, с веселыми гримасами.

Но теперь это не занимало его. Он был занят другим.

Казалось, он пытается рассмотреть вблизи причудливые формы будущей мысли, перенесенные с окраин его ума в центр созерцания. Такой особенной мысли, не получившей пока

воплощения в словах, как созвездие капелек жира в тарелке супа, странным образом вдруг ожившие и кружащиеся, чуть ли не пританцовывающие, следить за которыми было забавно, но которые ускользнули бы, словно рой неуловимой мошкеры, прояви он в этом деле чуть больше упорства и сосредоточенности, задолго до того, как ум его смог бы приступить к более тщательному анализу фигур этого элементарного и вместе с тем изощренного движения.

Но вот его усилия осмыслить что-то невыразимое ослабели, и сейчас же, может быть, из-за этого размягчения откуда-то всплыло воспоминание, как в прошлом походе вот так же за столом он сидел напротив штурмана, прикомандированного из другого экипажа, — неулыбчивого человека, за все время не проронившего ни единого слова.

«Слушай, как тебя зовут?» — спросил он его уже в самом конце похода.

«Меня зовут Боря». — «Спасибо тебе, Боря», — сказал он и неожиданно высунул длинный язык: — Ме-ме!»

И тотчас же между ними исчезла прозрачная стена — они дружно расхохотались.

Это было событие, при воспоминании о котором он и теперь не мог сдержать улыбку.

Именно событие. Какое верное слово.

Этого слова, казалось, давно уже ждал его ум, и как только оно отыскалось, к нему пришло радостное успокоение, как будто всплыла необходимая деталь, восстанавливающая логику сновидения.

Событие!

Может быть, этого жаждал и командир, назначая очередной жертве бритье бороды, да и сам он ради этого слова, наверное, прикармливал Вову.

И еще ему вспомнилось письмо однокашника.

Он получил его перед самым отходом. Того перевели с кораблей в училище командиром роты курсантов, и он от радости сошел с ума: развел на подоконниках казармы разные растения, рассаживал их, пересаживал, приютил кошку Маркизу, завел аквариум с рыбками и шпонцерными лягушками.

«Представляешь, — писал он — оказывается, шпонцерная лягушка ест сухой корм для рыбок, она запихивает его в рот обеими лапками. А у Маркизы будут котята. Из соседних рот уже приходили, хотят взять, когда родятся».

Да, он бы тоже завел себе там, на земле, что-нибудь такое, что можно сажать, пересаживать, с нетерпением дожидаться цветения, и то, что можно гладить по шерстке, без конца ее перебирая, — завел бы то, на что можно употребить тот огромный груз нежности, который почему-то не растрачивается на людей.

Люди не умеют делиться нежностью. Вернее, они хотели бы, но, похоже, они уверены в том, что они ничего не получают взамен и останутся без всего, отдав это чувство.

Они поссорились с Петром осенью.

Да, да, это был самый нижний, придонный слой времени года, когда тяжесть плохой погоды поглощает все твоё раздражение, потому что ее все равно не пересилить.

Этому сумеречному времени подошли бы чаепития в теплой комнате, непременно с блюдцами, с тренькающим звуком уютных чашек, с вареньем из крыжовника, сироп которого хитроумнейшим образом освещают, отделив его от ягод, а потом возвращают их ему, и они плотно усаживаются в банке, словно какие-то важные зеленые рыбки; а широкая хрустальная розетка, в которой они находят временный приют, напоминает акваторию залива, плотно усеянную притопленными бочонками.

В это время капли дождя оставляют на стекле следы, будто стайка улиток, вперегонки ползущих по огромнейшему прозрачному листу; некоторые из них замедляют движение и останавливаются, словно раздумывают, перекусить им здесь или отправиться далее, но потом они неожиданно для самих себя соскальзывают вниз,

словно на салазках, и исчезают, оставляя живые блестящие полосы.

И тут он отметил, что, думая о чем-то уютном, он все время находит морские эпитеты, что он словно отравлен ими...

Он поймал себя на том, что никак не может вспомнить подробности той давней ссоры.

Не помнит, с чего все тогда началось, какие там были причины, какие говорились слова.

Он видел, как все это от него ускользает, он долго не мог понять, на что это похоже — слова были элементарны, как шум листвы, но, увы, как и он, невозпроизводимы...

Это все случилось из-за его собственной склонности так упорно сопротивлялась всему ранящему, даже незначительной досаде, которую он испытывал, и всякому переживаемому им огорчению, сетованию на собственную непоследовательность, на детскую слабость. Наверное, так же поступает мать, отвлекающая младенца, забирающая у него острую вещицу, когда она подкладывает взамен нее старого испытанного медвежонка с серыми плешинками на боку, чтобы ребенок нашел у медвежонка знакомые черты, лопнувшие швы, и сунул палец в эти привычные раны, а ту вещицу — она незаметно отодвинет подальше; но эта хитрость не всегда удается матери, и когда малыш вновь и вновь нетерпеливо тянется к тому, что его волнует, она сдается и дает ему потрогать это, но

только той стороной, которая менее всего опасна и вряд ли способна причинить боль...

А слова — ну кто же верит словам? Одинаковые у всех людей, они все равно будут разными, другое дело взор и та влага, что скапливается у нижнего века — именно она и отвечает за искренность.

Кажется все началось с того, как он, там на пирсе, повинувшись внезапному порыву, вдруг обнял Петра, прижался к его груди и будто услышал в ней стук — там явственно трудились два молоточка, что ударяли в одно и то же место: сначала один, тот, что поболее, а затем и второй, поменьше — тук! тук! — тук! тук!

И было нечто невероятное в этом звуке, в самих тех ударах; а возможно, вовсе и не в ударах, а в паузах между ними — какая-то явная отзывчивость, пронзившая его тело как бесцветная рыболовная леска.

Что-то было в этом жалобное, а возможно, и жалкое, как в трепетаньях новорожденного, которые всегда хочется пресечь, остановить, потому что они невыносимы своей непредсказуемостью, потому что кажется, что они у него последние и нет никакой надежды на повторение, и тогда невольно тянет прижаться лицом сильнее в надежде, что так из этого тела никогда не уйдет жизнь.

О чем это он? О младенце? О Петре? А может быть, о себе самом?

Он подумал, что выразался неясно, но потом ему показалось, что невольно он и сам того желает, чтобы этой неясностью и неточностью связать всех: и младенца, и Петра, и его бьющееся сердце, и себя — невысокого, кряжистого, но в то же время какого-то очень непрочно-го, ломкого — прижавшегося тогда к груди Петра щекой.

А может, ему захотелось сейчас такой неясности, потому что он вдруг ощутил желание закрыть, зачеркнуть, захлопнуть эту тему, как тревожащую, а потому и нелюбимую страницу детской книги, которую ему когда-то не хотелось перечитывать как раз потому, что и на самом деле она прекрасна, но всегда неожиданно и сильно ранит.

Эта тема невыносима, как, впрочем, невыносимо и то, что есть своя вселенная катастроф даже в чашке компота, где течением, поднятым утопленницей-ложкой, перебираются истлевшие распашонки ягод малины, и початые пуфики вишен, и смятые икринки красной смородины, а люди пьют все это дождливыми вечерами, поедают, безучастные к этим маленьким трагедиям, а возможно, и не только к этим.

Так чего же можно хотеть от человеческого сердца?

Оно не приемлет мук, вытравливает их неустанно и терзаемо этим еще сильнее, потому как сам процесс такого отторжения тоже мучи-

телен и напоминает сведение с кожи наколки, от которой остаются еще более красноречивое свидетельство; может быть, там было: «Маша, я тебя люблю», — а теперь остекленевшая рана — свидетельство о плоти, о муках, которые и есть плоть, которые и делают эту жизнь плотной, осязаемой и непереносимой. И как ценны, а значит, красноречивы и даже отдохновенны должны быть после этого промежутки и пустота безмыслия.

Но, быть может, с куда большей силой сердце бунтует против переполнившей его нежности, с которой неизвестно как поступать, которая так плотна и густа, почти как вишневый кисель или еще того пуще; но она разливается внутри все же как жидкость, заполняя, захлестывая, и если там для нее нет преград, то она угрожающе стечет в какое-нибудь одно место, перегрузив его. И человека, получившего ее с превеликим избытком, не рассчитанного на ее тяжесть и густоту, зашатает, как и его тогда, и он пойдет, почти падая, не разбирая дороги, и он внезапно словно ослепнет, и так ему легче будет оступиться или даже погибнуть от какой-нибудь ерунды.

Ну, может быть, так? Возможно...

Иначе как объяснить себе то, что произошло еще минуту назад с растроганным Петром? А в том, что он был растроган, не было ни малейшего сомнения, это ощущалось прежде всего

по его взору, ставшему вдруг рассеянно жалким: все из-за того, что зрачки его глаз, дрогнув, чуть сместились к границам верхних выгнутых век и, казалось, вот-вот они укроются за веками; но уже у самой кромки становилось ясно, что они вовсе к этому не готовы, что они в замешательстве и не знают, на кого оставить выпустившие слезы, и они едва трепещут, они не в силах ни на что решиться.

Такой изгиб верхнего века всегда казался ему ему непереносимым, словно во всем этом было ощущение безвозвратности.

Петр сначала молчал, смотрел в сторону, но потом, сделав над собой видимое усилие, заговорил. Это были странные, как показалось тогда ему ущербные слова. Это были даже не слова, а какое-то недословие, потому что они почти не соединялись друг с другом, они всего лишь пристраивались, прилипали и, толкая друг друга, будто сами поражались такому соседству.

И он сейчас же почувствовал, что всегда боялся именно вот этих жестко звучащих слов, боялся всяких там названий, определений.

Они, как неумолимая конструкция, должны делать сильным то, что в самом деле таковым не является, что в самом деле слабо, лживо, нервно...

Ему показалось, что сейчас насупившиеся трамваи пронеслись там, где он собирался воздвигнуть что-то необычайно хрупкое, разбирая для этого строительства внутри себя ажурные

лесенки, составляющие его самость — снял одну, снял вторую, перенес, приладил, — а со всем этим очень трудно расстаться, потому что на их месте возникает пустота.

Он с трудом тогда понял, что Петр ему выговаривает, великомудро поучает, отстранившись, призывает к сдержанности, а ему все хотелось сказать: «Господи, так я же ничего... я же...» — и дальше он был уже не в силах, руки чертили в воздухе круги и, возвращаясь, ладонями приникали к своей бесполезной груди — бесполезной оттого, что она в тот момент не давала ни силы, ни уверенности, ничего. Он начал было собирать в пустоте какие-то несуществующие вещи.

Но нет. Ему все показалось.

Он все придумал, пользуясь своим сегодняшним взглядом на те события, и от нежности, скорее всего, захлебнулся тогда вовсе не Петр, а он сам.

И там, где следовало бы ответить на его чувство, разоблачиться, Петр стал, наоборот, одеваться, отгораживаясь и отмежевываясь, возводить словами барьеры.

А слова, пусть даже такие, какие у него были — в них же можно потеряться, и они жестокая штука. Они правдивы — о да, конечно, тысячу раз да, — но только в момент произнесения, а затем — неверны, неточны, лживы, а если будешь на них настаивать — опасны.

Но тогда это было не главное.

Его поразило и даже повергло в растерянность другое: как могло случиться, что они поменялась с Петром ролями.

Ведь это он держал в своих руках все нити их отношений, он был избалованный гурман, отвергающий то одно, то другое, капризный рыболов, лениво закидывающий удочку, уверенный в везении, удаче, небрежно снимающий с крючка улов, он был соблазнитель и поучающий деспот. Но незаметно произошла ошеломительная подмена и, решившись пойти к человеку за теплом, по праву, как он считал, ему принадлежащим, он наткнулся будто на зеркало, на свое собственное отражение.

И, возможно, устранившись этой оскорбляющей зависимости, короткого поводка, он и предпочел разрушить все то, над чем, наверное, следовало бы им обоим еще долго и долго трудиться.

Хотя, конечно, и в момент ссоры, и спустя некоторое время после нее он всего этого не знал.

Да и не мог знать. Это знание пришло к нему много позже.

Оно пришло к нему, уже успокоившемуся, уже выговорившему почти всё во внутреннем диалоге с Петром.

Он нашел массу доводов и разных слов, которые, впрочем, тут же сменились куда более убедительными доводами и еще более точными словами.

К нему, уже уставшему, пришло это знание, как приходило потом не однажды, но с каждым разом оно становилось все медлительнее, все отстраненнее, — пришло серой, мягкой кошечкой, что, удобно устроившись у него на коленях, глянув на него своими спокойными зелеными глазищами, словно дала понять: «Все будет хорошо».

И он понял все или почти все. Или сейчас ему только кажется, что он все тогда понял и смотрел спокойным теперь внутренним взором на себя того, стоящего перед разглагольствующим дураком, вспоминал себя, растерявшегося так, что собственные руки в поисках чего-то, какой-то опоры, находили только друг дружку и начинали себя пожимать, а на глаза попадались незаметные ранее необычайно выразительные мелочи, мусор, вроде облупившейся черной краски на пирсе, каверны, которые напоминали своими очертаниями материки и говорили на детском языке: «Это — Африка, это — Австралия», — и их сейчас же, как и когда-то ему захотелось потрогать.

А еще на глаза попадал вспыхивающий блеснами след от катера, далеко отошедшего, почти не слышного, по которому в безветренную погоду только и можно догадаться, что перед нами вода; или же несбритый длинный волос,двигающийся на коже в такт говорящему, способный надолго овладеть вниманием и тем самым отвлечь и спасти, оградив слух от всхли-

пывающего биения собственного сердца.

А потом он увидел себя со стороны.

Себя, уже вполне овладевшего собой, выждавшего удобный момент для ссоры, что-то зло, холодно, размеренно говорящего Петру, застигнутому врасплох. И смотрел он при этом на Петра так, как, быть может, взирает на мир природа — на все эти флегматичные окрестные холмы и кроны деревьев. Уставившись сквозь жирный и плотный воздух в обесцвеченное, будто выстиранное, небо за мгновение до того, как уходящая, ускользающая природа, потеряет для нас свой смысл, который мы же ей и придавали, и будет отдаляться, превращаясь в некое подобие рая, оставляя там фигуры и образы, которые мы сами в нее и вкладывали, и мы об этом не будем сожалеть.

А потом ему представилось лицо сметенного человека, а, скорее всего, не смятенного, а мучительно думающего, и не само лицо, в котором из-за отрешенности не было ничего милого ему, а только глаза, в чьих движениях и проявлялся весь томящий его недуг: веки были только чуть-чуть приподняты выше обычного, из-за чего глаза казались бы вытарашенными, оставайся они на месте; но нет, зрачки, точно огромные неутомимые водомерки, зачем-то занявшиеся в весенней луже синхронным катанием, совершали торопливые перемещения внутри некоторого ограниченного пространства, но, достигая края, они беспокойно отталкивались от

него, вроде боялись обжечься или оступиться, заступить за черту, и сейчас же устремлялись в противоположную сторону. Казалось, покрой их веками, и они все так же будут метаться под ними, ну совсем как это происходит у спящего и видящего сны.

Чье это лицо?

Петра?

Или его собственное?

Ему не хотелось об этом думать.

Ему — уже лежащему в каюте, на полке, на верхнем ярусе, захотелось вовсе отстраниться от мыслей, и он приказал себе отказаться от всякой мысли.

Он отгородился прикроватными занавесками от наползающего мира каюты, от висящих по углам одутловатых шинелей и кителей, хранящих воспоминания о фигурах владельцев.

Но всякий раз, как только он это проделывал, ему сразу же начинало казаться, что он положен кем-то в ящик с матерчатыми стенками, и ему хотелось сразу же схватить и отдернуть занавеску; и он, понимая, что все это чушь, иногда все же не мог удержаться, хватался, отдергивал и после с глупым смешком, гримасничая самому себе, возвращал ее назад — вот так — задвинут, забыт.

Так хотелось иногда, чтоб все о тебе забыли, и порой мерещилась, что все это не с тобой происходит, а ты — настоящий — рядом и подсматриваешь за тем, что делает другой.

Тогда начинает казаться, что под подушку вползает страх — серый и холодный.

Он похож на короткую скользкую простыню, что выдают в вагоне пассажирского поезда, и она виновна в глупых видениях о том, как во время сна, накренившись, поезд сходит с рельсов — и так далее, и так далее.

А потом ты неожиданно просыпаешься, а у лица твоего уже стоит такая темнота, которую в обычной жизни не увидеть.

Она давно растворила не успевшее отдохнуть тело.

Она может поглотить все, что только в нее ни погрузить, и в эту пору так хочется к кому-нибудь прижаться, пожаловаться.

Как когда-то хотелось пожаловаться, когда его впервые поставили по команде в строй в одну шеренгу.

По команде, а не по собственной воле.

И это оскорбило его.

Он понял, что это действительно оскорбление, самое худшее из всех, поскольку ты себе уже не принадлежишь.

И он рывком, раз за разом, после каждого выкрика старшины: «Равняйся!» — поворачивал голову направо, следя за тем, чтоб левое ухо было чуть выше правого.

Все это представилось ему тогда, когда он зажмурился и приказал себе ни о чем не думать, подставив закрытые глаза под лучи слабенькой

прикроватной лампочки в изголовье, и она своими лучами, немедленно соединившись с кожей век, легко согрела глазные яблоки, став крохотным уютным солнцем.

И сейчас же почудилось, что он лежит на горячем, колючем песке, который отдает свое тепло не вдруг, а как-то пятнами, словно бы он — тот песок — прекрасно понимает, что передача всего жара сразу была бы для тела губительна, потому-то он и вспыхивает то там, то сям, точно покусывает, заставляя угасающее сознание обращаться то к горячей голени, то к спине, то снова к голени.

И вот уже солнце, быть может, немного ревнуя, плеснуло истомленное масло ему на грудь, наблюдая за тем, как он спасается в тень под иву, куда жара непременно попытается забраться по узким, перебегающим с места на место золотым полоскам, но тут же отступит, прогоняемая стайей взбаламученных листьев.

В такое время лучше всего было превратиться в дерево, опустившее не страшщиеся стрижки ветви на жаркие подушки окружающего воздуха.

Изнывающего, недвижимого, словно подвешенного кем-то высоко над жаровней в кофейне.

И простоять так всю свою бездумную, а потому и невеликую вечность, только поскрипывая.

И избавиться от любых желаний, уставившись в равномерно нанесенную лазурь близких небес.

Думать о таких распрекрасных облаках, появившихся у линии горизонта.

Почему это вообще приходит в голову человеку, который лежит в каюте, в подводной лодке, внутри этого аквариума наоборот, этого металлического снаряда, почти вслепую крадущегося в бесконечном океане на глубине, где в любое время суток царят сумерки?

Ну, может быть, потому что он замкнут в этой прочной скорлупе, и еще запаян в кубике каюты, и почти со всех сторон запечатан в койке, и на него все это давит, все оболочки безумного железного яйца, что входят одно в другое, как матрешки.

Давят эти стены, потолок, койка, пол, несколько перекрытий над головой, и непреодолимый гул вентилятора, и вибрации, и электрические поля, и еще какие-то там поля, и смрад, и вонь.

И то, что его могут поднять в любую секунду, выдернуть из-под одеяла и осмотреть со всех сторон, как вещь, как куклу, как резинового пупса, у которого оторвали ногу.

Его должны выдернуть обязательно, и он знает, что его выдернут — а как же иначе? Поэтому его сознание каждый день перед сном как бы заново умирает и перед этой метафизической смертью хватается за трепет листьев ивы — тот самый, когда-то и где-то увиденный, а теперь всплывший, который, чтоб подольше сохранилось, чтоб посильнее пристало, торпливо сравнивается, ну, скажем, с пляской флажков на демонстрации.

И тут же в сознание лезут крылья бабочки-капустницы, с которыми неизвестно что делать, но они торжественно раскрываются и неторопливо складываются, зажигая в зелени желтый глаз, словно огонек неприкаянного маячка. И все это мешает угасающему сознанию и в то же время прочно входит в его трехминутную, но такую огромную жизнь, как и шарики, бьющиеся в тахометрах, что так похожи на горлышки поющих птичек.

А потом в сознании может всплыть чье-то выражение: «Ну, в натуре!» — и какой-то четвертинкой ума ты понимаешь, что оно из детства, когда ходили на свалки, ловили там жаб, заглядывали им в глаза и осторожно трогали бородавки, рассуждая о том, ядовитые они или нет; а жабы доверчиво хватались лапками за детские ладошки, готовые, в любую секунду куда-нибудь сигануть.

И от этого, словно от предчувствия влюбленности, наступит лад в душе и омовение всех ее выступов и приборочка в закоулках, отчего ускользящий перед сном мир на миг станет чересчур осязаемым и чувственным.

Мир на мгновение обзаведется удивительной, чуть влажной, похожей на сок губ пленкой. И легкого прикосновения к которой достаточно, чтобы он, прежде чем истлеть в сознании, начал бы говорить, спеша нагородить о себе терриконы разной милой чепухи; и ты, задохнувшийся от неизвестно откуда случившихся непроявленных еще чувств, вдруг становишься нео-

бычайно щедрым: тебе хочется весь этот мир обнять, прижаться к нему; тебе хочется раздать все, что у тебя есть, и все, чего у тебя никогда не было.

~

А теперь самое время протянуть руку и погасить прикроватный светильник. У него тугой тумблерок, и надо немало потрудиться, прежде чем удастся с ним справиться, и для этого придется на время освободиться от дремоты, аккуратно, чтоб только не повредить, снять с себя ее прилипчивые лохмотья, чтобы потом, когда справишься со всеми делами, то есть со светом, разумеется, и свернешься калачиком на правом боку, вновь надеть их на себя, проверяя, как легли их складки. И тогда, конечно же, обнаружится, что не все они займут свои места, и досада в последний раз на сегодня шевельнет твой ум, тот — тронет тело, а оно, оживая — как хныкающий медвежонок, или как сонная те-теря, или как случайно задетые клавиши, что выводят свое бессильное «тю-ру-ли» — вернет ему трепет, воспринимаемый в виде образов или только неясных линий, полных мягкой горечи, сетований и бормотаний.

Сон, что может быть слаще тебя? Что может быть лучше, прекрасней тебя здесь, на подводной лодке?

И что может быть утомительнее тебя или тревожней?

Ему снилось порой, что он голый стоит у доски в школе и сдает устный экзамен по английскому или по математике, и ему ужасно неудобно оттого, что он без одежды и, кроме того, он совершенно не подготовлен к экзамену, а вокруг кто-то ходит и, как назло, время от времени касается обнаженного тела рукавом шерстяного костюма.

И еще ему снились погони, где кто-то кого-то преследовал, а он с интересом наблюдал, а потом выяснилось, что гонятся за ним, и все это в ярких красках, с осязанием, с запахами.

Иногда ему снилась женщина. Ее лица он никак не мог разглядеть, но не сомневался в том, что оно было необычайно милым. Он готовился ею обладать, и ее можно было потрогать, чтоб удостовериться в ее существовании и в том, что все это реальность; и он прикасался к ней, и она удивленно оборачивалась и смеялась, а потом они лежали, прижавшись друг к другу, у нее была мягкая кожа, и первым отзывался на его прикосновение золотистый пушок, покрывающий ее, что пригибался, почти исчезая, и от возбуждения у него дрожали, чуть кривились губы: кажется, в них начинали оживать скрытые от взора проволочки или, нет, скорее бугорки, которые колебались, мешая говорить, и слова срывались искалеченными и смешными, но ему все

же удалось сказать все, что в данном случае требовалось, и они начинали, торопясь, устраиваться поудобнее, готовясь доставить друг другу наслаждение, но всегда что-то мешало, увлекая его в сторону, и он бормотал тому «что-то»: «Нет! Нет!» — и старался задержаться, прижимаясь, чтобы его судороги все же достались ей.

Но чаще всего ему снился его отсек и какие-то бесконечные работы, которые требовали хитроумных решений, и все это надо было делать быстро, потому что кто-то с секундометром отсчитывал вслух минуты и секунды, приходящиеся на каждую операцию, и в груди тогда ощущалась тяжесть какой-то старой вины, и была та тяжесть сначала неподвижна и только затрудняла дыхание, но потом она обретала собственное тело и приходила в движение, грозя соскользнуть с колеи, и он изо всех сил старался помешать этому, силился сохранить равновесие и просыпался, ощущая, как рука вахтенного, пришедшего его будить, шарит и по постели и по нему.

Господи, но отчего же на лодке снятся такие сны, в которых действуешь словно наяву и, проснувшись, долгое время не можешь понять, где ты, кто ты, ты это или не ты, и который теперь час? Словно бы теряется нить, связывающая тебя в той точке планеты, где находится твой корабль, с тем временем, когда он там находится, и ты не в силах противиться, помешать этому; хотя, засыпая, всякий раз неким участ-

ком ума понимаешь, что так оно и будет, и во сне ты будешь страдать бесконечно долго; потому что время сна, как и время вахты — или, вернее, время раздумий на ней — имеет, в отличие от корабельного времени, иную плотность.

Оно похоже на пространство, на лабиринт из высоких темных комнат: там хочется поднять свой взор к потолку, хотя заранее известно, что ты его не увидишь, очертания его теряются в голубоватой дымке, но ужасно хочется это сделать, до дрожи в шее, до предощущения того, что как только ты поднимешь глаза, так сразу же что-то случится; и еще хочется прикоснуться к стенам этого лабиринта, чтоб ощутить их прохладу; и от этого желания, а вернее, от одной возможности его осуществления, возникает поразительное чувство незащищенности. И ты кутаешься, кутаешься, но потом оказывается все напрасно, и спине все равно холодно — от страха ли перед этой своей беспомощностью, от осознания ли ежедневного опустошения, производимого в тебе сном, от заполнения летучими образами, способными вмиг покинуть случайную темницу, прихватив с собой какие-то глубинные и очень дорогие для тебя частицы, которые, как оказалось, трудно от тебя отделимы, потому как они и есть ты.

И как только это случается в некоторый момент сна, твое существо словно спохватывается и изо всех сил призывает тебя, разбитого, а быть может, и рассеянного по всей Вселенной, вернуться к тебе же, к самому себе, очнувшие-

муся, застигнутому за этим еженощным постановиванием, совершаемым словно бы кем-то другим.

И они — те частички — спешат на призыв, они летят как светящиеся точки насекомых, стремящихся к фонарю, они влетают в тебя не все сразу, одновременно, но сейчас же становятся тобой, вернее частью тебя, и ты ощущаешь сперва, скажем, свою руку, осознаешь, что это она и есть, и так она называется, а потом — пальцы, лицо, потом окружающие предметы, койку, одеяло, вспоминаешь, кто ты, где ты и куда ты должен идти, и много-много позже — что с тобою приключилось раньше.

Возможно, все это от того, что во сне душа, предошущающая страдание, пославшее ей сигналы о своем приближении, старается отгородиться от него. Она отгораживается тем, что, покопавшись в далеких детских страхах, заваленных в памяти всякой всячиной, затертых, словно комариные уколы на руке или плохая отметка в дневнике, находит там нечто такое, что, соединившись с другими беспокойными ранками юности вырастает в фантом, способный если не вступить в единоборство с этими посланцами будущей горечи, то хотя бы отвлечь ее — душу — от томящего ожидания их появления.

И так изо дня в день.

И каждый день по-своему закончен, сформован, у него есть начало и конец, объем и тяжесть; у него словно есть свое собственное тело, и его можно взять в руки, как баночку с

кремом, рассмотреть, поставить куда-нибудь, чтобы потом не вспомнить, забыть, и лишь когда-то, перебирая всякие досужие мелочи, натолкнуться на него с удивлением, узнать и с легкой грустью, с сомнением, взять его в руки, раздумывая — вскрывать или не вскрывать.

Ах, сны! Как все-таки хорошо, что вы еще снитесь людям на подводной лодке; людям, которые изо дня в день на многие месяцы подряд обречены видеть только друг друга, говорить, смеяться, восхищаться друг другом или ненавидеть: ненавидеть улыбку, походку, рубашку, усики над губой, то, как он ест, как держит руки, как встает, как садится, как ложится спать.

И любят здесь примерно за то же самое.

Он проснулся в полдень.

По каким-то металлическим, неаккуратным, оскорбляющим слух звукам — будто где-то вдалеке задевали крышкой о кастрюлю или говорили высокими ссорящимися голосами — он догадался, что теперь уже полдень; но полудрема — неотпускающая, вяжущая, склеивающая верхние веки с нижними особым сонным сиропом — присовокупила будто ощущение тепла, дома, постели; добавила уверенность в том, что кто-то из домашних, наверное бабушка, готовит завтрак, и скоро придет его будить, положит ему на голову мягкую ладонь.

Бабушка, пухлые пальцы которой он, исследуя, столько раз сжимал в детстве, наблюдая за тем, как они бледнеют в местах сжатия, а потом, когда отпускаешь, те места немедленно темнеют — это возвращается кровь.

И он знал, и сжимал сильней, немало не забываясь о том, что бабушке больно; напротив, он считал, что она может и потерпеть, ведь ему надо посмотреть, как кровь возвращается, да она просто кидается назад, эта кровь, и это похоже на то, как стайка мелких рыбешек броса-

ется за крошками корма; и он все сжимал и отпускал, бабушка теряла терпение, притворно сердилась, говорила: «Ну, хватит!» — и выдерживала руку, а он со смехом ее преследовал, и оба были страшно довольны.

Но вот что-то сделалось, что-то случилось, и эта иллюзия вмиг оставила его, ее будто выхватили из его сознания, ее словно бы сдуло, будто белый листок, исписанный дорогими тебе словами; его выхватил ветер, а ты с огорчением лишь следишь за тем, как он удаляется.

Да-да, та иллюзия оставила его, а тревога, до того бессильно слонявшаяся в его сознании, заняла ее место (здесь тревога всегда существует, находится рядом; она словно бы записана на постоянно текущей магнитофонной ленте, где-нибудь на тайной дорожке, которую, быть может, никогда не включают) и он, явственно ощутив ее, вздрогнул всем телом, встряхнул часы на руке, взглянув на них, охнул, и тотчас оказался стоящим перед дверью каюты.

Он проспал.

Обед, подъем, вахту.

Вахтенный наверняка не добудился его, оставил в покое после безуспешных попыток.

Он даже вспомнил, что где-то в самой середине сна его сильно трясло, и он тогда знал, что надо вставать, но, лишь только его оставили в покое с радостью подумал, что обознался.

Дверь каюты с лязгом уплыла в сторону — с тем вороватым лязгом, с каким открывается

дверь купе, но он всего этого не слышал.

Он был уже далеко, в другом отсеке, перед входом на свой боевой пост.

Вот он скользнул в него, едва успев заметить растерянное лицо Петра.

Его удивило то, на что он никогда прежде не обращал внимания — как при переходе из отсека в отсек он таким земноводным буквально нырнул в проходное отверстие; а вернее, то, как он это сделал — пританцовывая, юркнул, повернулся, потянул на себя тяжелую круглую дверь и медленно, слишком медленно, потому что она очень громоздка, прикрыл ею это зияние, эту дырищу, через которую были видны внутренности другого отсека — грозные и давящие, неопрятные и наглые.

И еще отчего-то вспомнилось, что длинная железная ручка, кремальера, чьим поворотом книзу дверь обжималась, герметизировалась, такая на ощупь жирная, скользкая, сальная и, наверное, кислая — он иногда ловил себя на мысли, что порой едва удерживается, чтоб не лизнуть ее, как в детстве медную ручку двери в продуктовом магазине, — конечно, она должна была быть кислой. И он с ума сходил от этого желания.

Но, скорее, это нагромождение подробностей и желаний, и еще отвращение, которое он при этом испытывал, вызывались им в себе специально.

Ему на самом деле не хотелось видеть, как

гаснут отзвуки надежды на лице Петра, как они умирают, оставив на какое-то время после себя неуловимые признаки надежды, недавно побывавшей здесь. И это угасание будто сумеречная листва у дороги, которая какое-то время хранит отблески света, запутавшиеся в ней после того, как машина, осветившая эту путаницу, скрылась за поворотом.

И еще ему не хотелось видеть его глаза, будто виноватые во всем, тревожные глаза Петра, грозившие утянуть его в свои пределы в тот момент, как время уже раздвинуло свои границы.

И земля, кажется, уходит из-под ног, и даже некуда ступить, и страшно это сделать — там может оказаться пустота.

Он поймал себя на том, что торопливо и нервно переминается на месте прямо перед Петром.

И эта торопливость была так похожа на суетность влюбленного, подгоняющего свои содрогания.

Но, может быть, это чувство возникает из-за скорости, с которой тебя выдернули из-под одеяла, заставили пробежаться, а теперь усадили истуканом, и твои внутренние ритмы совсем не согласуются с происходящим.

Или это чувство появляется потому, что здесь приходится все время ходить согнувшись, вытянув вперед лицо и склонив шею, чтоб не удариться обо что-нибудь, не получить жесткий удар в лоб. Ведь приходится лавировать на ходу

в этом суженном пространстве, быстро в то же время нежно огибать углы, оплывая их скоро и ласково, словно имеешь дело с неопасными земноводными или зрачками глаз, мгновенно увидев их темные отверстия в пестроте радужки, когда замешкавшись, взор Петра уже убегает от тебя.

Ему не хотелось услышать слова, они словно толпились в тесноте у самого выхода из гортани, впитав в себя всю его влагу.

Петр ушел, а он, словно бы не замечая его ухода, неосознанно занимался поисками причин своего раздражения, которое все еще пребывало внутри в виде неутомимо кружащегося коллоида, для которого так хотелось найти любую причину, пусть даже самую ничтожную, и призрачную.

Вещи и предметы лезли на глаза, точно растения, выпроставшие вверх свои побеги.

Они, словно ученики, однажды выучившие урок, тянут руки и просят взглядами: «Меня, спросите меня!»

Он подумал почему-то о полотенце, зацепив его бессмысленным взором. Вот, эти складки помнят о руках, которые их брали и о лице, к которому их прижимали; они многое могли бы поведать о своих владельцах, право же, очень многое.

И вот приборы на посту теплые, они ведь давным-давно прижились в своих углах и впустили запросто тебя. Вот ты и не заметил как

привык к тому, что эта вот стрелочка должна показывать температуру, а табло должно быть зеленым с золотистыми линиями по полю, и если оно не светится, то ты испытываешь неудобство, точно сидишь в очень тесной одежде или ночуешь в скрипучей чужой постели.

Да, здесь тесно, сплющено, сжато — надо как-то приспособливаться.

Не отсюда ли и здешняя способность лавировать не только телами, но и в мыслях, в желаниях. Не отсюда ли способность мгновенно менять их направление и безжалостно разрушать уже начатое.

И все это — убегая, убегая, убегая...

Весь мир точно сжимается в каплю, в тот шарик воды, который, выскользнув в пыль, бережно собирает на себя множество пылинок, и они тотчас же становятся его принадлежностью, и их теперь можно неторопливо изучать, подолгу рассматривая.

Дорогое перетекает в привычное, а привычное — в дорогое, и скоро, очень скоро, между ними уже не сыскать разницы; и человек торопится, бежит, чтобы вернуться к самому себе. Так возвращается мысль однажды уже наметившая себе объект; и вот он сам бежит, отмечая про себя плывущие навстречу красные и желтые клапаны в отсеке, и еще надписи на стенах, надписи и цифры, цифры...

Вдруг он понял, что во всем виноват Петр.

Конечно, он, кто же еще. Конечно! Его словно осенило! Ведь он не зовет его по имени — да, да, да! — а так хочется услышать свое собственное имя, а не кличку, не какое-то прозвище, не должность, и без всяких там: «Послушай, эй!» — и чтоб непременно с ласковым окончанием, чтоб можно было повторить его самому и поддержать во рту, под уздечкой языка.

Он виноват в том, что не сооружает для него этих элементарных островков счастья, на которых — даже на самых маленьких — можно было бы уместиться.

А счастье напоминает вздох, такой, когда вроде боязно набрать полную грудь воздуха, но сладостна уверенность в том, что ты можешь это сделать. Да, счастье, в сущности, штука трагическая, оно может легко закутаться в полупрозрачную оболочку, сквозь которую будет угадываться будущее бедствие. Но решившись испытать его, счастье, следует погружаться в него очень медленно, как во взор стороннего человека, в который можно безнаказанно опускаться лишь до некоторой отметки, а потом человек твердеет, и тогда нужно отворотить лицо, задержавшись где-то на границе его взора, чтобы он успокоился и отнес все эти посягательства к ошибкам своего зрения.

Что же касается раздражения, то иногда он ловил себя на том, что его раздражает почти все вокруг. То, как напарник носит широкую на-

тельную рубаху с коротким рукавом: он почему-то всегда надевает ее под облегающее синее репсовое рабочее платье — «китайский кителечек», и видно как эти складки все топорщат.

Раздражает его и то, что на посту чисто: это сменщик сделал приборку, а потом, значит, снял тапочки и ходил в носках, и ты, открыв дверь, вынужден так же снять свои тапочки. Будто бы круг привычного оказался таким образом разомнут, в него насильно втиснули чужие действия, которые ты замечаешь, и ты подбираешься к этому чужому пространству, наполненному осязаемыми вещами, ощупывая их на расстоянии взглядом — как жук, отбивающий усиками дробь на подсунутой веточке, и через какое-то время уже ко всему привыкаешь, как жук.

Но теперь он приметил, что кое-где остались темные волоски Петра — эти его следы, его приметы, которые приводят в ярость.

Возможно, нехватка всего, чего не замечаешь и не ценишь в обычной жизни — солнца, ветра, листвы, дождя, их великой повсеместной силы — восполняется здесь, под водой так уродливо.

После ссоры с Петром у него что-то случилось с речью. Он вспомнил...

Да, все было так, странно: он приоткрывал свой рот и боялся произнести слово — губы вроде бы деревенели, и в тот момент казалось особенно странным, что одни звуки непременно должны соединяться с другими звуками, чтоб

получились слова. И он старался следить за их сочетанием, но они получались у него слишком влажными, клейкими, готовыми прилипнуть, прицепиться к чему угодно — хоть и к губам, и когда это случалось, то из него выходили не слова, а какая-то невнятная ерунда.

А потом он справился с собой, но говорил с Петром медленно и раздельно, и каждая продуманная фраза его выдавала. Она словно бы сама делилась на три части: в первой — нарочито безликой — он, несмотря на все деланное равнодушие, явно о чем-то просил, возможно, всего лишь о снисхождении; во второй — отчаянно бесцеремонной, бодрой — он всем тоном ее произнесения настаивал на том, что ему, в общем-то, плевать и ничего он не просит, как это могло сначала показаться; но в третьей, заторопившись, чтоб его наглость не была обнаружена и принята всерьез, он срывался почти на фальцет и выдавал себя с головой.

Ведь внутри него была мука.

Наверное, она поселилась там ужасно давно, и, непроявленная, неосветленная, неосознанная, существовала там, как всегдашний ровный шум вентилятора; она томила, ранила, саднила, коржила, заставляла постоянно менять привычное место, ворочаться во сне, задыхаться, маяться, метаться.

Вот ты повернулся как-то неловко, не так, как всегда, и страдание обнаруживало себя, выбиралось на поверхность и заголосило, а мо-

жет быть, это заголосил ты, а может быть, этот голос слился с твоим, обретя наконец нужную тональность.

Он думал о том, что и самоубийство бывает очень близко.

Наверное, когда в душе возникает такая переливающаяся слабость, протекая предательским липким ручейком.

Он возникает тогда, когда все ужасно, или когда все прекрасно, но ты не в силах что-либо изменить — помешать или поддержать. И тогда ты говоришь: «Господи! Лучше б я исчез!» — но в этот момент, в момент произнесения этих слов, ты уже миновал рубеж своего исчезновения.

Произнеси эту фразу, и ты уже никогда не покончишь с собою: минуло всего лишь мгновение — и теперь можно запросто, примеряться к своему исчезновению, напяливая на себя смерть, как костюм, воображая при этом, что бы ты перед тем сказал, о чем бы подумал. Но это уже тихие детские игры. Это почти смешно.

Он знал, что в них играют здесь решительно все.

Ведь нужно быть готовым...

В любой момент тебя, спящего или бодрствующего, может раздавить, задушить, смешать с металлом.

Здесь так устроен мир.

Он расположился в кресле поудобней: плотно приник спиной к дерматиновой спинке, на ко-

тору ю был накинута ватник, приник к ней столь плотно, что его спине вдруг стало тепло. Он отчетливо почувствовал это.

От этого ему в который раз показалось, что он защищен, оберегаем со всех сторон, как в той давней, позабытой детской вермишелевой стране, где можно было спастись от всех своих страхов под огромным старым халатом.

Его окружали вещи, приборы, маленькие и большие, все эти щиты сигнализации, выпрямители, множество устройств.

Они соединялись друг с другом и с окружающим пространством могучими жилами электрических кабелей и коленами воздухопроводов, они жужжали, стрекотали, урчали.

Он любил включить их все, чтоб они так свистели, и он зажигал сразу все лампы дневного света, чтобы они тоже гудели.

Он ко всему поочередно прикасался, и все отвечало дрожью на его касание.

«Одиночество. У него мягкие руки и теплые объятия», — так ему подумалось, и тут он вдруг явственно увидел свою душевную жизнь.

Увидел, что она у него есть, и благодаря этому он так видит все вокруг, и ему вот мгновенно стало ясно, что чего-то он безмерно хочет касаться, а что-то бесцеремонно касается его самого, и тогда его заливают волна раздражения.

Он застал себя за страданием.

За тем, что он страдает.

И он знает, что это — страдание.

Он сумел назвать свое чувство единственно возможным именем.

Он всему здесь дал имена, он все насытил образами, и вокруг него теперь живут не предметы, но объекты: одни он любит, другие — ненавидит, может быть, за то, что они желто-белосерого, а не красного цвета, например; а может быть, за то, что они, как и он, дети этого подменного мира.

Мир предметов.

Он обратил его в мир сущностей, которые

нет-нет, да и ведут себя как предметы, то есть вдруг становятся сухи, голы, горячи, но не теплы.

Неожиданно они лишаются тех промежуточных фаз, которые он им подарил, и сколько нужно приложить усилий, чтоб они вновь стали существовать.

Но почему предметы, а не люди, почему?

Потому что они никуда не денутся, а люди сбегут, покинут, предадут, уйдут как почва из-под ног.

Да, да, да, он отлично потрудился — вылепил себе настоящее одиночество. А все потому, что он другой человек, по-другому сделан, но ему порой очень нужен еще один человек — Петр, наверное, которого он когда-то любил и, может быть, все еще любит.

Эта любовь в прошлом лишила его панциря, и он сделался слаб, незащищен. Он голый, совсем голый, как в том сне, что видел накануне, голый перед своими собственными чувствами.

Но как же скрыться? Ведь могут войти и обнаружить, что ты не такой как все — без скорлупы, без лат, маленький, до отвращения мягкий. И его охватил ужас. Ужас до тошноты. Ужас осмысления себя. Но в тот самый миг, когда ты почувствовал себя собой, устоять невозможно, и ты бежишь по топкому пространству своей прошлой жизни, по кочкам, которые будут под тобой погружаться, и нельзя остановиться, нельзя...

Но, в то же время, она — эта любовь — на-

делила его богатством — подарила этот яркий, пышный, звенящий мир, и выстроила в нем дом — приходи и живи. Но все это чревато смещением и несовпадением; и он знает, что все уже кончилось, в сущности, и не начавшись, и основные разрушители — слова — самое призрачное из всего.

Хотя так ли призрачны и эфемерны, эти летучие конструкции? Ведь они могут загнать человека в коробку, в ящик с высоченными стенами, через которые не перебраться; и никуда он оттуда не денется, они будут колоть, жалить и еще томить.

Назови что-либо именем — например, любовь «любовью», и тебе захочется это убить, задушить, потому что неизвестно, что с этим, в конце концов, делать.

Отдаться ему, этому чувству? Но как же с ним жить, ничего ни у кого не воруя, и есть ли предел запретам, предел тому состоянию, когда ты подчинил себя тому, к чему ты поначалу стремился, а теперь противишься всей душой?

Тебе хочется искренности от того, кто рядом, тебе хочется касаться его, но ты боишься, опасаясь и трогаешь не его, а его вещи, следы его пальцев на стекле прибора. Они еще кажутся теплыми, ты трогаешь их, и они тебя не отталкивают.

Но через мгновение они уже перестают быть сущностями и отзываться на твое прикоснове-

ние, и сердце впустую ищет убежавшее звено, и одиночество напрасно пытается согреть тебя.

Однажды Петр поцеловал его в губы.

Это произошло вскоре после их ссоры.

Петр был тогда пьян, и пришел мириться, а он все уворачивался от Петра, но потом попался и ощутил во рту чужую трепещущую плоть, устрицу его языка.

Ему было неприятно. Конечно.

Хотя, наверное, ему прежде всего было неприятно об этом думать, а в тот момент — осознать происходящее, облекая его в слова, — в самую ненадежную оболочку, потому что тогда в который раз получалось, что у всего этого есть еще один соучастник, соглядатай, которого страшится чувственность и бежит стыдливость, этот великий стряпчий, который выкристаллизывает в человеческом разуме случившееся, раскладывает там все по полочкам и дает названия, определения, указывает на направление, не забывает о причинах и следствиях, который, позволь ему, даже солнечный зайчик поспешит загнать в спичечный коробок, а потом оказывается, что человек со всех сторон огорожен целой сетью условностей и правил, и пути отступления ему — человеку — заказаны...

Да, все это так, слова — великие мучители, проныры, наушники.

Они кружатся в твоём уме помимо воли, приближаются и отступают, словно пробуют слить-

ся; они, наконец, соединяются, заставляя вздохнуть с облегчением, с надеждой на то, что ничего, в сущности, не было, не случилось, и ты снова такой же, как и прежде; но вот появляется цепочка из прочно спаянных слов, которых ты так боялся, и ты застигнут, тебе некуда бежать, ты дрожишь в ожидая удара, ждешь его, все же надеясь, что обманулся, и все еще образуется, и все еще будет хорошо...

И он подумал о том, что слово способно лишить дорогие глаза блеска, что так похож на свет, отразившейся от ледяной поверхности пруда, наполняемого талой водой, когда она только-только покрыла его своей ненадежной пленкой; или, напротив, оно, слово, способно наполнить их слезами, побудить к действию или изнурить...

Теперь, возвращаясь к тем событиям — а то, что Петр поцеловал его в губы было для него, несомненно, событием — нужно признаться, что ему настойчиво хотелось думать, что поцелуй был ему неприятен. Да-да, именно так, потому что он боялся обнаружить в себе, что все как раз наоборот.

И еще они тогда говорили-говорили с Петром невозможно вспомнить о чем.

Образованный ссорой ров нужно было закидать всяким словесным мусором, чтобы можно было снова подойти друг к другу.

Это были какие-то великолепные, суесящиеся, счастливые глупости, разноцветная мишура, чушь, бестолочь, чепуха, и каждый, сообщая их другому, как нечто необычайно важное, с серьезным и в то же время сияющим видом радовался не тому, что он сказал, а тому, что его собеседник не гонит их от себя.

Это был разговор интонаций, малейшие колебания в которых гораздо важнее, чем все формулы мира.

Так переговариваются птицы на ветках, ког-

да встает солнце, когда они счастливы: чирк-чирк — все хорошо...

Но вот в разговоре образовывалась пауза, передышка, во время которой каждый думал о чем-то своем и улыбался, словно прислушиваясь к тому щебету, что был только что; и чем дольше пауза длилась, тем сильнее слова застревают в горле, и было больше неловкости, и мягче, беспомощней становились их улыбки, обращенные друг другу.

И тогда он увидел руки Петра, которые оживали в такт его глазам, то есть, словно согласуясь с ними, так же не находили себе места, гонимые неизвестно кем или чем — они вдруг затихали, становились такими же нежными, трепетными и молящими; и при взгляде на них ему немедленно захотелось скрыться, забиться, спрятаться, сделавшись необычайно маленьким, в какую-нибудь норку, и в ней сейчас же ощупать все поверхности, а затем, убедившись, что все прочно, без дураков, утихомириться, повторяя про себя: «Вот теперь-то меня никто не тронет, вот теперь-то меня никто не тронет».

И душа его так же делалась совсем крошечной — вжалась-сжалась — ну совсем, как когда-то в той затерявшейся стороне, где всегда происходили только необыкновенные и важнейшие события, и все было значительным и серьезным. Там как-то мальчишки выстрелили из воздушного ружья в лягушку, которую специально для этого выловили из пруда, выловили и при-

ставили дуло к ее голове, а лягушка потом долго-долго, опираясь жалкими лапками о землю, прогибалась в спинке, откидывала свою простреленную голову, в которой темнела влажная дырочка, далеко назад, застывала в такой позе, словно внезапно ослепший гимнаст на помосте.

«Ну совсем как человек, — думал он тогда, — ну совсем как человек», — и отводил глаза, а другие смотрели жадно, как по ее телу пробегает мелкая дрожь, и трогали ее пальцами.

«Господи! Должен же кто-то и пожалеть человека, нельзя же кидать ему камнем в окно, напирать на него, наседать, наезжать, кричать: «Видишь, я тебя люблю, а где же ты и твоя любовь?» От этого может быть холодно жить», — так ему подумалось. И еще сразу же подумалось, что, в сущности, ему никто еще не сказал, что его любит и, возможно, на него никто не наезжает, не придавливает, не загоняет, и никто ему ничего не кричит.

А затем его охватил страх. И он точь-в-точь походил на оцепенение, которое он испытал в детстве. Тогда это был его первый страх, и он впервые ощутил его как чувство, существующее и внутри него. Это был его первый ужас, конечно, и заключался он в ожидании зла, в знании, что оно с ним случится.

Да, этот ужас, существовал и внутри, и снаружи него: словно рядом с ним кто-то есть — кто-то, примостившийся на самом краешке его

взора, всегда успевающий ускользнуть, за то краткое время, как только оборотишься в надежде поймать его, увидеть и тем самым от него избавиться.

Он впервые испытал это в детстве: он сидел тогда в школе, в классе на первом этаже у окна. Ему потом вспомнилось, что он всегда страшился этого окна, будто ожидал от него какого-то подвоха, и окно, а вернее стекло, было символом ненадежности, хрупкости и опасности.

Он, похоже, боялся камня, который почему-то, по неизвестной причине, обязательно должен был влететь с улицы, влететь и уронить на него эту хрустящую грудку. Но так ему казалось потом, много-много позже, а тогда, на уроке, что-то вдруг словно принялось поворачивать его шею и заставляя смотреть влево — ну, еще, еще левей, что-то или кто-то внутри его говорил: «Посмотри, посмотри же скорей!» — а он сопротивлялся, но не сумел перебороть и посмотрел — на него со стороны улицы во все глаза глядел мальчишка.

Мальчишка смотрел с высоты своего роста на него сидящего и казался ему огромным. А потом мальчишка зашептал что-то и пригрозил, и тогда страх захлестнул его — он вдруг понял, что мальчишка все равно найдет его, отыщет.

Он выбрался из школы неизвестно как, и еще месяц ходил, озираясь, и страх то стихал, то поднимался в нем. Тот мальчишка нашел-таки его, но, как ни странно, страх тогда не успел им овладеть — все произошло так нежданно — и маль-

чишка спросил только: «Ты чего от меня бегаешь?» — а он ответил: «Я не бегаю», — и все прошло.

Никто не должен порождать в нем страх.

Петр не имеет на это права...

Никто не имеет на это права.

Даже страх перед тем, чего никогда не было.

Даже перед тем, что родилось от долгих внутренних разговоров с безмолвным человеком, когда внутри самого себя он его спрашивал, и за него отвечал.

Говоря, соглашаясь с собой и тут же возражая, он понял, на самом деле каким-то образом подписывал незримый договор с любимым человеком.

И его нельзя было нарушить.

Это был особенный тайный договор.

Он был, и в то же время его не было, потому что все эти пункты, статьи и параграфы никогда вслух не произносились, не обсуждались.

О нет, они передавались с помощью взгляда, и тот, кто умел читать взгляды, знал, что с ним заключен договор.

Это был необыкновенный взгляд, и те, кому он был адресован, догадывались, что что-то про-

изошло, и они уже чего-то лишились, но в то же время они ощущали, что взамен они столь много приобрели, но они все же не были уверены в своих обретениях и тратах, и их охватывала смятение, и они пытались вернуть то неизвестное, что у них вроде бы отняли, и тогда они сразу же нарушали договор — любимые и нелюбимые...

Незримый, невысказанный договор нарушить было невозможно, но все его нарушали: и любимые, и нелюбимые.

А разве договор заключался и с нелюбимыми?

Конечно. Просто в нем бывало меньше пунктов.

А для любимых там имелись дополнительные статьи и параграфы — сюда не ходите, с тем не водитесь — и он был о верности, о чем же еще.

Но был еще один страх — его собственный — который порождался тем же множеством неоговоренных условий, которые по незнанию так легко было нарушить. Это делало договор еще более невыполнимым: все прокалывались, и приходилось заключать новые и новые соглашения, метаться, заглядывать в глаза, будто спрашивая: «А вы правда не обманете?» — и торопливо совать всем подряд свои непрочные условия, словно бесплатные газеты, брошюры или билетки в будущее — почти насильно, или бросать все и не заключать вовсе. И ждать, ждать того единственного, который подпишет все параграфы, не глядя.

Нельзя пережить угрозу насилия. Можно вытерпеть само насилие.

Этот мир мягок, мокр, и мы рискуем смешаться с грязью, с той самой грязью, что только что была чудесной плотью этого любимого человека и его смешными волосиками, которые можно хранить в тетрадах между листиками.

«Вот и чувство становится равным страху перед чувством», — ему иногда так думалось.

И он бывал страшно рад приходу этих слов.

Они появлялись ниоткуда, приходили, нелепые, и прогоняли другие слова, которые он отодвигал от себя, потому что боялся их произнести. Ведь произнеси их, и откроется, что ты давно другой человек, и тебя прежнего уже нет, и туда вернуться нельзя.

Такие чудеса.

От них можно было бы избавиться, но только на время.

Закрывать глаза и увидеть себя, толкающего неуклюжую тележку, уставленную сорокалитровыми алюминиевыми лагунами, доверху наполненными помоями, а одет ты в белую форменку и белые брюки, и все это такое застиранно-тесное, что до щиколоток не достает, рукава едва достигают запястий, под рубашку забирается ветер; и брюки напоминают неряшливые кальсоны: несмотря на то, что они выстираны, они неопрятны, словно вывернуты наизнанку, и главная функция исподнего — не являться при

свете дня — нарушается, и тебе кажется странным то, что люди, идущие мимо, равнодушны и не замечают, что ты так безнадежно оголен.

Хотя лучше представить что-то, не имеющее отношения к наготы, потому что нагота в этом застывшем вихре очумелого железа — теперешнего, которое его окружало — воспринималось как символ насилия.

Нужно вспомнить что-то из детства, из того полуденного мира, где осень играючи наполняла корзину пожелтевшими грушами, где можно было встретить свою первую школьную строчку: «Мама мыла Лару», — встретить, подивиться и возгордиться аккуратности заглавных букв.

А еще можно уснуть.

Просто сидя в кресле.

На минуту, на секунду, на секундочку.

Здесь ведь человек, как животное, беспрестанно начеку, в постоянном беспокойстве ловит сигналы, идущие отовсюду, неустанно вглядывается, вслушивается в происходящее, в окружающее, которое питает в нем постоянный страх.

Вот-вот что-то произойдет, что-то случится, сломается, взорвется, загорится, откроется рана, и в нее поступит вода. И воду не сдержать, она все преодолеет, сметет на своем пути, сомнет и расплющит; и вот ты уже бежишь, а вернее, как тебе кажется, еле перебираешь ногами в этом урагане сворачиваемого железа, и тянешься, тянешься, тянешься туда, где долж-

на быть воздушная подушка — спасительный черпачок воздуха, втискиваешься, давя мышцы и кости, лицом между трубами, и тянешься-тянешься...

Все это в тебе.

Живет в тебе вместе с надеждами, чаяниями, муками, вместе с тем, что ты, как птица, бросаешься на любую подачку человеческого тепла, внимания, нежности; оно живет в тебе потому, что не только ты управляешь этими механизмами, но и они управляют тобой. Они скрепят, ноют, ломаются, и ты влезает в их нутро, и вскоре, как-то незаметно, их внутренности становятся твоим телом, в тебя словно входят невидимые нити, соединяющие тебя со всеми этими приборами, клапанами, полом и потолком, отсеком. И вот ты становишься просто живой ниточкой, пульсирующей между двумя заслонками. Мысль твоя отныне, точно насекомое, будет бегать по веточке — от начала в конец, от конца в начало — и у тебя уже нет горизонта, и ты обречен мусолить одно и то же.

Счастье, если твое существование оказалось полноценным, и тебе больше ничегошеньки не надо, лишь бы только говорить о том, как ты выстроишь дом, когда уйдешь на пенсию, или заведешь около этого чудного дома несколько ульев с пчелами.

Но вот он утих.

Мир вроде бы отступился, он перестает угрожать, он заигрывает с тобой, дает передышку.

Отсюда поразительная здешняя способность пребывать в дремотном состоянии, которой он так тяготился, и нечеловеческая сонливость там, где требуется бодрость — на вахте, например — и бессонница в каюте, там, где ты на сегодня оставлен в покое. И человек не спит, ожидая что после захлопывания двери навалится придонная чернота, откуда сразу же хочется вырваться и увидеть звезды.

Сон заставляет проживать эту жизнь быстрее.

Сон — сладчайший подарок.

Ты засыпаешь в настоящем, а просыпаешься в будущем, где все-все хорошо, так как невзирая ни на что оно наступило.

Он спал уже пять минут.

Этого хватило, чтобы мышцы его лица обмякли, разгладились.

Как приятно смотреть на человека, оставленного в покое.

Хотя покой этот мнимый, конечно, и ненадежный, и зависит от множества случайностей и потому чрезвычайно трогателен.

Это покой былинки, прикорнувшей на скользком металле, залетевшей бог весть как в сопло двигателя.

Но вот человек хмурится. Что ему снится?

Да все что угодно, какая-нибудь мешанина, ерунда, потому что прошедшая тревога все же оставила свои царапинки на его душевном полотне, да и будущая — каким-то образом обнаружила все признаки своего приближения.

Может быть, в лодке ему снится лодка, при том, что он сам — пучина, которая, засыпая, погружается в собственные тартарары. Такое часто бывает: тебе, дважды или даже трижды погруженному — сначала в собственные мучения, мысли, слова и идеи, которые вызваны этими мучениями, только затем, чтобы вызвать к жизни все новые и новые страдания; а затем и в сон, где все эти земные терзания, не соревнуясь более в собственной значимости, разместились бы как придется в кругах подсознания; но чем они более язвят, тем крепче должно быть желание утянуть их на самое-самое дно, нутро; и, наконец, ты опущен вместе с лодкой в тене-та, где, кажется, времени нет, а ее, лодку, Бог видит точкой, своим неожиданным допущением или упущением, которому по чистой случайности позволено быть и сниться.

Лодка — это такая кочующая дробина, вслепую вползающая в безразличную темноту, потихонечкудвигающаяся к своему месту в океане: небольшому квадратику на карте, разбитой на множество таких же квадратиков, по которому лодка будет блуждать сомнамбулой, дожидаясь сигнала ракетной атаки.

Но вот она получила сигнал: огромная железная рыбина направилась к поверхности — сорок один метр до воздуха — «Стоп!» — тут она ляжет на боевой курс и полежит на нем, пока не оживут ее электронные мозги, пока будет проверяться схема, пока будут сверяться перфокарты, а в них континент-страна.

Тогда забурлит все в ее утробе.

Это хлынет вода в цистерны.

Так компенсируется уход ракет.

Они взлетели — им достанутся города.

Лодка вздрогнет восемь раз — половина ее «детшек» ушла. Еще двадцать минут будет приходить в себя разволнованная электронная схема.

В эти томительные минуты люди тут, на по-

сту, будут ждать возмездия за содеянное, будут ждать ответного удара; не дождавшись, они вздохнут, защебечут и пошлют следом еще восемь уродин.

Внешняя тревога может зародиться в тебе не только оттого, что ты все это знаешь и можешь представить во всех подробностях, но и от тесноты. Оттого, что приборы, трубы, трассы напозают друг на друга, они заслоняют внутреннюю поверхность лодки — пол, стены, подволоку. И случись пробоина, и до нее не дотянуться, не добраться, ничем ее не закрыть: занят каждый сантиметр поверхности в этой ужасающей тесноте.

Она таит в себе опасность: всего лишь маленькая дырочка в трубопроводе, наподобие детской свистульки, и вот уже факел веретенного масла под колоссальным давлением превращаясь в туман, заполнит отсек, а там и пожар, и крики, и смерть.

Кричат где-то рядом, у тебя за спиной, за переборкой, и ты знаешь, кто это, различаешь их голоса, и, кажется, даже их дыхание.

Но нельзя открывать переборочную дверь — на болт ее, привязать кремальеру, чтоб не вырвали из рук, чтоб не вломились, потому как за ними войдет огонь и сгорят все.

Или, возможно, произойдет короткое замыкание — и тогда до щита не долезть, не дотянуться, и не сразу узнаешь, где и что горит, только хлопок, как взрыв, и языки пламени, и весь

отсек сейчас же в дыму, в густой серой каше.

Дым стоит у твоих вытаращенных, слезящихся глаз, — не дотелепаться до переборки, суешься во все лбом, и еще раз носом, и все почему-то думаешь в этот миг о какой-то ерунде (к примеру, о том, что нос мешает тебе), а сам все мечешься, мечешься...

Пошел перегретый двухсотградусный пар, ворвалась мощная, расшибающая все подряд струя; немедленно вниз, не касаясь поручней, обдираясь о ступеньки, и втискиваешься под вал, и вваливаешься в колодец для конденсата и грязи, тлена, и остаешься там, забившись в угол, свернувшись в клубок — голову к коленям, и обнимаешь ее руками, и только, по тому как затекают икры, понимаешь, что жив...

А вот и вырвало клапан, и он улетел, как снаряд, и забортная вода свищет, и немедленно пропадает электричество — слава Богу, сообразили, успели обесточить, иначе бы пожар, и весь отсек в мелкой дряни — под давлением вода расшибается в пыль, в слизь, в мокроту, — а ты один в этой темноте, один...

Нет! Вот кто-то еще копошится.

— «Петя, ты?»

Какое счастье, может быть, вы умрете вместе.

Только бы не одному, не одному...

Будущую смерть можно примерять на себя, как одежду, и можно думать о том, как ты выглядишь в ней, какое у тебя лицо, глаза, рот, руки. Главное — не быть смешным.

Гибнущий не ждет, а действует, он старается задержаться руками, убежать, пролезть, поползти, и тут-то она его настигает, а он все продолжает упорствовать, не замечая смертной истомы, о которой он столько думал.

Тело помнит об этих тревогах.

Оно помнит все, что было с тобой, или с кем-то еще, помнит даже то, чего никогда не было, но что могло быть.

Оно помнит, как смывает за борт, как человек летит вверх тормашками, и как он всплывает на поверхность, провожая уходящий корабль взглядом.

Тело помнит все: и тоску, и холод; тело знает, что его может вырвать из страховочного пояса и протащить по палубе до кормы, чтоб стряхнуть в кипящие винты.

Пока ты спишь, твое тело готовится к не-

взгодам и вспоминает, потому что слишком уж явственно лодка погружается в твою собственную глубину, туда, где живут слезы, где все ранящее, саднящее, смертное.

И на самом деле тебе, может быть, снится не один, а сразу множество снов, в каждом из которых ты подвергаешься мукам, которые с таким усердием собирала в этой жизни твоя душа.

Но некто — может быть, Бог — оберегает тебя и дает тебе запомнить только верхний, самый невинный твой сон, в котором кто-то всегда за тобой гонится, или ты безуспешно борешься с кем-то, споришь, бормочешь, надув обиженно губы.

От тесноты все это, от темноты.

От нее и опасность, и беспомощность, и смятение, которое уничтожает ожидание.

Оно уничтожает вчера, сегодня, завтра.

Все превращается в «нынче», и мы хотим выйти из смятения, поэтому нам требуется любовь.

Любовь дает человеку надежду на завтрашний день.

На помощь любви проходят слова.

Любые слова, — лопочи их, бормочи захлеб — ты, главное, не замолкай, ведь для любви все равно, что говорить, слова лишь подспорье взглядам и нежности, которую так ждут.

Не молчи, не молчи.

Здесь, в этом мире подхватят каждое твое движение, дыхание.

Тут поверят тебе, потому что хотят поверить, и рады обмануться, если только этот обман не навсегда, если он всего лишь мосток между тобой и тем, кто так тебе дорог, кого ты полюбил.

И вот вы оба говорите, несете всякий вздор, понимая, что это все об одном и том же — о любви.

Но нельзя подглядывать за своим чувством, иначе заметишь, как один из вас нуждается в нем больше — он о нем просит, и в тот момент он становится маленьким, капризным, неловким, жалким и достойным сожаления. Тот же в ком он надеется отыскать отклик, вдруг безмерно вырастает. Он вроде бы стоит на возвышении и смотрит сверху, он похож на Бога, который может осчастливить, а может и отказать. Но снизойдя к мольбам — о чудо! — и он тоже становится маленьким и жалким, а тот, первый, вырастает и становится большим.

Происходит смена ролей, которой, возможно, пугаются те, кто только ощупывают тропинки, ведущие к этому горячему чувству.

Эти превращения страшат их, хотя, скорее всего, их пугает возможность увидеть себя со стороны: видеть собственные глаза, в которых есть страдание, свой молящий рот, потные пальцы. И тот, кто не боится видеть себя жалким и просящим, в конечном счете и достоин любви, — когда внутри него поселяется другой человек, и этот человек иногда хнычет, страдает, жалуется, потому что на него действует все, что

его окружает. Все жесты, взгляды, слова; и все это будет на него напирать, будет его преследовать до тех пор, пока он не научится различать это чувство; и тогда оно заставит его жить по своим законам.

Здесь люди решаются даже на безответное чувство. Потому что тогда они начинают понимать свое одиночество — они чувствуют, что уже не одни здесь — хотя бы растворившись в другом человеке.

Они на все начинают смотреть его глазами — это может их пугать, но только поначалу, а потом это чувство их приручает, а потом от него уже никуда не деться, как и от того к кому это чувство обращено.

Оно, потаенное, обитающее внутри делается их вечным собеседником.

С этим чувством порой тяжело, но оно притягивает.

Это может быть похоже на слезы, на то, как человек плачет. Тогда он ведь тоже не одинок — у него есть его слезы, то есть у него есть еще один человек, и он очень настоящий, потому что этими слезами он вызывает себя из своих собственных темных глубин и находится рядом и согревает.

Поэтому человек плачет.

Ему хочется раздвоения.

Ему хочется стать больше, потому что в этом, как ему кажется, его настоящее спасение.

И как иногда холодно.

Холодно локтям и коленкам, ступням и коже.
И как хочется согреться.
Слезами или болью.

А еще любовь похожа на плавание.

На взаимоотношения, возникающие у человека с огромной массой воды, которая сначала его вовсе не замечает почти так же, как тебя не замечаю лазурные небеса. Они прекрасны, на них ни облачка, и они слишком заняты собой, но потом, когда гаснет день, в природе появляется столько же неуверенности, метаний, стыдливости и сомнений, как и в человеческой душе. Тогда и она — природа — принимает всех, и небеса благосклонны к тебе так же, как и вода, что осторожно трогает, пробует тебя на вкус, убеждает себя, что и ты ей понравился.

Она не чувствует брезгливости к тебе, она принимает тебя всего, с головы до ног, для нее все едино — твоя рука или твой срам.

И вокруг тебя образуется пространство, которое становится тебе необычайно близким — у него температура твоего тела, у него твои ритмы, и можно поклясться, что где-то здесь, рядом, что-то отзывается в такт на удары твоего сердца.

Так возникает мимолетная связь, каприз, но в ней все без обмана, все настоящее, пусть даже

на мгновение, и в какой-то момент невозможно понять, где ты, а где море: вы едины — произошло соединение несоединимого, согласование несогласуемого, соотнесение несоотносимого, и даже невозможно сказать, кто больше — ты или море.

А потом эта мысль уходит, и ты смеешься: действительно, как в любви можно сравнивать?

Вот человек плывет в море.
Далеко от берега.

Он сказал себе только: «Я доплыву! Доплыву обязательно!» — и сейчас же гребок его сделался медленнее, плавнее.

Он выбрал сторону, куда поплывет.

И не важно, есть там берег или ему только так кажется. С этим выбором пришло успокоение, и вода, которая раньше грозила захлестнуть, успокоилась вдруг, она теперь ощущается живым существом, у которого существует собственное тело, периоды, колебания и амплитуды.

Оказывается, на нее стоит только слегка надавить корпусом или рукой, и она ответит — ласково вытолкнет на поверхность. И ты теряешь счет времени, и не ощущаешь холода, и глубина перестает подбираться к незащищенному животу, а в плече — там, где сходятся жилки — поселяются упругие ритмы, и они уже сами, независимо от тебя, управляют твоим движением, и ты уже не принадлежишь своему телу — о нет! — ты смотришь на него со стороны и удивля-

ешься тому, как быстро и ловко оно движется.

«Бах-таки-тах! Тах-таки-тах!»

Это стучит сердце, или колотит в висках — у самого уха капель: это капли возвращаются в воду.

Солнце словно позолотило края радужной оболочки. Кажется, что глаза ничего кроме солнечных зайчиков не видят. Таращишь их в воду, стараясь что-нибудь рассмотреть, а видно только блестящее брюхо — так выглядит поверхность водораздела, если погрузить голову в воду и посмотреть вверх. И ты стараешься не смотреть вниз, оттого что не хочется смотреть в равнодушную застывшую мглу.

Времени вдруг стало много.

Так много, что целая жизнь, пожалуй, могла бы улечься между двумя гребками.

Мир придвинулся вплотную.

Тысячи молекул его, сталкиваясь, тычутся тебе в плечи, ключицы, грудь.

Так тычется в краюху хлеба стайка назойливой рыбьей мелюзги.

Они будто говорят: «Вот и мы, а раньше ты нас не замечал, у тебя не хватало минутки, а теперь смотри на нас, осязай, пробуй на вкус!»

Ты среди этих частиц свой, ты растворяешься в воде, как растворяются друг в друге влюбленные, и ты не сопротивляешься этому, наоборот, ты хочешь крикнуть всему миру: «Я с вами!»

Я ваш! Я тоже такой же!»

Ты совсем не замечаешь как что-то (может быть, тень будущей усталости) давно уже поселилось у тебя в груди и вместо тела, которого ты уже не чувствуешь, ты ощущаешь тепло.

Оно исходит непонятно откуда.

И тебе слышится далекий звон — можно поклясться, что ты его слышишь — словно кто-то зовет тебя или манит, и ты откликаешься на этот зов, ты не в силах сопротивляться, и устремляешься навстречу блеску, который давно уже стоит перед твоими глазами, которые все равно ничего из-за соли не видят.

В некий момент в плече появляется пустота, и сначала ты не веришь, что в твоём плече ничего нет, что рука проворачивается безо всяких усилий, и кажется, что эти усилия никому не нужны, они мешают чему-то, необычайно притягательному, тому, что ты узнал совсем недавно; тому, что тебе только что открылось, но ты никак не можешь вспомнить.

Ах, да, ты же думал о растворении; о том, что человек в воде может раствориться, как щепотка соли; о том, что это так похоже на любовь.

Но в этот же миг ты словно пробуждаешься от сна, вернее, от дремоты, оцепенения ума, и тебе сейчас же становится страшно, потому что неизвестно сколько времени ты в воде — час, два, сутки, двое.

И ты действительно ничего не видишь, очер-

тания предметов оплывают; хотя, нет, вот перед взором появляется полоса — да-да, ты не ошибся, — она возникает и пропадает, всплывает и снова погружается в воду.

Берег!

Каким-то звериным чутьем ты понимаешь, что это берег, и тебе надо туда, и ты собираешь все силы и делаешь рывок, выпрыгиваешь из воды...

Нет, это тебе только кажется, и никуда ты не делся, прыжка не получается, а твои руки и ноги теперь могут только двигаться с той же скоростью, но те частички, которые только что с лаской тыкались тебе в плечи и грудь, теперь почувствовали, что ты уходишь от них, покидаешь, и они точно взбесившись лезут в нос, в уши, в рот, попадают в глотку, будто не хотят тебя терять.

А в плече все сильнее разрастается пустота.

Она пугает тебя, и ты гонишь от себя мысли о ней, ты скороговоркой говоришь: «Все! Все! Тихо! Я доплыву! Все будет хорошо! Посмотри на свои руки! У тебя очень сильные руки — раз-два! раз-два! — вдох-выдох! — посмотри, сколько пузырей, и их будет больше. Не смотри вниз, закрой глаза, думай о чем хочешь, все равно о чем, давай, только быстро, быстрее, о чем-нибудь хорошем: о цветах! о земле! о листве! о сосне! Да, о сосне, вспомни какие у нее иголки. Раз-два, вдох-выдох!»

И время тянется бесконечно долго, и ты перебираешь все известные тебе растения, вызываешь их из памяти, и все слова, любые слова...

Кажется, нет таких слов, которые ты не вспомнил бы, и еще всех животных, всех собак — дворовых, да, конечно, собак, их клички, и какая у них шерсть, и ты запускаешь руку в их шерсть, и рука в ней тонет, и вдруг она натывается там на что-то, там, под тобой, совсем близко от твоего живота, и ты пугаешься — отпрянул, а это «что-то» течет между пальцами.

Как в воде может что-то течь?

И тут же ты осознаешь: да это же песок, он, точно песок.

Это берег, берег!

Ты доплыл, добрался, и ты хочешь встать, вот сейчас, сейчас же...

Но сейчас же усталость овладевает твоими руками, ногами, головой и спиной.

И вот усталость навалилась на тебя, и ты в ней вязнешь, ты хочешь встать, а тебя не отпускает, несет в волнах, переворачивает.

Ты ползешь на четвереньках очень-очень долго и падаешь головой куда-то, и ударяешься обо «что-то», и это «что-то» не вода, а песок, и тело твое еще чувствует удары и встряску, слышит шелест волн.

И ты опускаешься в вату, в сено, во что-то мягкое, глаз не открыть, веки не поднимаются — и ты засыпаешь, засыпаешь, засыпаешь...

Ты доплыл...

Это словно гимн телу, которое само по себе пусто и чисто, если только в дело не замешана любовь — пусть даже маленькая, нежная, дрожаящая ее толика, которая своим легким прикосновением меняет душу.

Она как захваченный врасплох весной цветок, вдруг стремительно вырастает и становится огромной и поглощает тело.

И уже не разобраться — все смешалось — душа становится телом, тело — душой, и она наделяет тело очарованием влюбленного взора, всем его светом, блеском трепетом.

И люди попадают на эту перемену: они не в силах в ней разобраться. Вот ошалевшие, они не могут оторваться от чужого тела, ставшего дорогой плотью; ненасытные, они просят пропитания у него.

А их любовь — маленькая и нежная, по недосмотру так и оставшаяся маленькой, говорит им: «Все не то, все не так!» — и не дает людям покоя, заставляя их снова и снова влюбляться.

И они снова, как и впервые, подходят к телу

с опаской, с ожиданием нечистоты, тревожного запаха, особого вкуса.

И вот влюбленные касаются уютных телесных ложбин, где ютятся неразумные дети любви.

В них столько открытости, незащищенности. И пробуждаясь как слепые котята, они, оживая ото сна, толчками набухают, доверчиво раскрывая свои ободки и лепестки, словно приглашают восхититься собой, словно приговаривают: «Мы проснулись, скорей смотри, какие мы чудные!»

Тогда люди берут их, трогают, приникают к ним, своими устами отыскивают в них вкус, слушают их странный тревожный запах.

И вот происходит чудо — нет никакой нечистоты, никакой грязи нет, а есть только любимая плоть — такая нежная и уязвимая.

Рядом с нею, пробуя ее на вкус, все тоже давно превратились в детей с обиженными губами.

Они могут смеяться попусту или горевать сотню раз на дню.

Их иногда посещают юные страхи, и от содеянного они ощущают себя беззащитными, словно им продувает лопатки и сосет под ложечкой, как если бы где-то в толпе на мгновение они потеряли свою мать.

Любовь меняет все.

Вот та, что раньше представлялась вероломной обманщицей, плотоядным цветком, в котором все живое обречено смяться, втянуться в ее бездну...

Вот она, та сокровенность, полная бессилия, о которой чей-то вкрадчивый голос только что нашептывал сладкие пакости, как и другой голос, дружеский и тревожный, волнуясь, перебивал и торопился прибавить: «Не верь, она завлекает, это она овладевает тобой, а не ты ей, она утянет, и ты погибнешь, она поглотит тебя и твой мир как вареное яйцо!»

Но она как жалкая угасающая устрица, что устала бороться и не напрягает более свою плоть, не стягивает мягкие створки, а может только лишь едва пошевелиться и, вздрогнув, растечься в стороны, обнажив все свои складки, что сейчас же нарисуют линии, полные жалости, готовые принять осмеяние и позор.

И кажется, они заводят с нами молящий разговор.

Сначала они говорят:

«Не надо, ну пожалуйста, не надо!»

А потом:

«Ну, вот и все...»

А тот росток-недотепа, срывающийся за большого бродягу, просто растение, что оживает весной, набухает, как плод внутри материнского чрева и доверчиво тянется, ждет участия или сочувствия и распускается только тогда, когда достаточно уже уверил себя, что его единственный смеженный глаз никого больше не напугает.

Допросившись ласки, он задрожит, забьется и заставит вспомнить жаркие воды Нила или сверкающий отек опала, который природа так долго держала во рту, или звездное небо над головой, до которого, впрочем, ему никак не дотянуться.

Это любовь.

Можно, конечно, думать о ней на дне железного отсека.

Можно видеть ее во сне.

Можно видеть объект своей любви.

Его тело.

К нему можно протянуть руки и потрогать, приласкать, и он может быть то мужчиной, то

женщиной, и это не удивляет, потому что в этот момент, оказывается, не спит твой ум, который знает, что все это сон, а во сне всё может быть, всё возможно, хотя в первый момент тело вздрогнет, и человек скажет себе: «Где я?» —

«Спи, спи, — ответит ум, — никто не увидит. Ведь здесь нет слов — нет свидетелей. Свидетелей-слов и слов-свидетелей. Это сон».

И человек рассмеется, потому что это сон, а во сне можно смеяться, улыбаться, ничего не боясь и ласкать кого тебе вздумается, и ум скажет на ухо, что у любви нет пола — и ты кивнешь ему.

«И рядом с ней нет вожделения, — добавит он, — а есть только ласка».

И ты согласишься, а светлячок за грудиной уже вовсю потрудился, обходя свой невеликий алтарь; и ласка, что досталась тебе, уже разливается неразумными кругами по коже, которая сравнима с водной гладью, и по ней бегут молдцы-водомерки, словно спортсмены на коньках, а под лезвием у них вспыхивают миры, города и страны, в которых встает солнце.

Пусть нашему герою приснится любовь.

А лучше соитие, и об этом сне он никому не расскажет.

Пусть все происходит без слов.

Вернее, слова пусть будут, но что-то или кто-то, нисходящий к человеческой слабости, к словобоязни, сразу же изымет их из его памяти, оставив только самое приятное — обласканность и утоленность, в которых можно купаться так же,

как и в любимом взоре. И пусть по его телу пройдет судорога, а лучше — волна.

Она возникнет от тончайших волосков китайских кисточек, которые сопровождают те слова, так ласкающие его.

Они имеют отношение к сиянию глаз, к тому особому состоянию жидкости, омывающей зрачок, — они заставляют сразу же позабыть все сказанное.

А потом забывается и тот взор, потому что не до того, потому что тебя захлестывает от малейшего прикосновения этих волосков к коже, и все тонет в волнах неизъяснимого томления, что охватывает тебя со всех сторон, то усиливаясь, то слабей.

Может быть, было бы жаль забывать те слова и те взоры, если бы не некая волшебная сила, которая дарит уверенность в том, что как только ослабеет волна нежности, опять вернуться забытые, но незабвенные слова, и они прозвучат, как только что произнесенные.

Пусть ему приснится, что кто-то — возможно, Петр, — он приникнет к нему, прижмется к его груди и защитит его от кошмаров, пожаров, утоплений, землетрясений, убережет от всех мыслимых утрат.

И сделавшись маленьким-маленьким, став всецело слухом, под бой молоточка о наковаленку, он украдкой попытается отыскать в нем то самое место, кочующее от паха до средостения, откуда идет вся эта удивительная теплота, которой так много — открой только шлюзы, и ее не сдержать.

И тоже почувствовав это тепло (свое, не свое, уже совсем не важно), Петр своими губами подхватит его встревоженный росток, который из-за поднявшейся температуры и сам, подрастая, уже отыскивал себе прибежище, тыкался во все, прижимался, хотел, чтоб его взяли-укачали-убаюкали.

И вот, склонившись, прижавшись, Петр трудится над ним, — ему виден его покачивающийся затылок и две смешные мальчишеские макушки, вокруг которых коротко остриженные волосы расходятся по спирали, как и те самые вол-

ны нежности, разбегающиеся от его ласки.

И все это так подлинно, что он и свое тело ощущает как реальность, его можно даже пощупать, и он щупает — и все существует, — все здесь, все рядом.

Вот и качающаяся, кланяющаяся голова Петра, ее можно погладить — и он ее погладил — можно осторожно повернуть голову и заглянуть Петру в глаза, но этого делать почему-то не хочется, он не знает почему, — но лучше отговориться тем, что некогда, — да, вот именно некогда, не до того, — что-то сделалось со временем, с его ощущением — его будто бы не стало, но вот оно вновь появилось и принялось уменьшаться, истекать, и это испугало бы, если б он вдруг не подумал, что все это сон, подумал и сразу забыл.

А тот вымахавший недотепа, поглощенный Петром, захваченный им в глубокий плен — как полюбившаяся игрушка, предназначенная в первую очередь для пробы на вкус, — давно отправленный в жаркое, влажное путешествие, умудрился с дороги послать во все концы весточки, что истомившуюся плотину ожидает прорыв, и он, услышав этот сигнал, ощутил, что вот сейчас он не сдержится, вот сейчас, вот...

И плотину прорвало, жаркие потоки захлестнули изголодавшихся и прошли через сердце.

И он вдруг увидел себя, увидел то, что на самом деле уже он, а не Петр, убаюкивает того

сорванца, помогая ему истекать, ослабевать, укрывая, согревая, приговаривая: «Тише, тише, спи, все хорошо...»

1993, 2005

П 48 Александр Покровский. Иногда ночью мне снится лодка.: Роман.: СПб.: ООО "ИНА-ПРЕСС", 2005. — 160 С.

УДК 882 ББК 84 (2Рос-Рус)6
ISBN 5-87135-171-9

Роман Александра Покровского — замечательного прозаика, автора знаменитых книг «...Расстрелять!», «72 метра» (на основе одноименной повести был снят художественный фильм) и многих других тоже посвящен морю.

В новой книге А. Покровский предстает тонким психологом, пристальным наблюдателем, вникающим в оттенки душевной жизни молодого человека, оказавшегося в замкнутости подлодки, настолько глубоко и достоверно, что зачастую нельзя различить — реальность ли, воспоминания, медитации или грезы оживают под его виртуозным пером.

ПОКРОВСКИЙ А. М.

ИНОГДА НОЧЬЮ МНЕ СНИТСЯ ЛОДКА

роман

Сдано в набор 05.01.05. Подписано в печать 22.07.05.

Формат 84×108/32.

Гарнитура Pragmatika.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 10. Уч.-изд. л. 6,5.

Тираж 5000 экз.

Заказ № 2145.

Издательство ООО «ИНАПРЕСС»

СПб., Невский пр., 74

inapress@peterlink.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ФГУП «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР»

Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

Эту и другие книги А. Покровского, а также широкий ассортимент литературы по морской тематике: нормативной, справочной, учебной, экономике морского флота, морскому праву, морскому английскому языку и военно-морскому флоту можно приобрести в книготорговой компании **ООО «МОРКНИГА»**

(095)234-79-28, факс (095)759-22-01

www.morkniga.narod.ru

morlit@rambler.ru

kligmano@mail.ru

Роман Александра Покровского — замечательного прозаика, автора знаменитых книг «...Расстрелять!», «72 метра» (на основе одноименной повести был снят художественный фильм) и многих других тоже посвящен морю.



В новой книге А. Покровский предстает тонким психологом, пристальным наблюдателем, вникающим в оттенки душевной жизни молодого человека, оказавшегося в замкнутости подлодки, настолько глубоко и достоверно, что зачастую нельзя различить — реальность ли, воспоминания, медитации или грезы оживают под его виртуозным пером.

ISBN 5-87135-171-9

